



Сергей Ожгибесов

Поход на юг

Сергей Ожгибесов

Поход на юг

«Автор»

2026

Ожгибесов С.

Поход на юг / С. Ожгибесов — «Автор», 2026

860 г. Поход на Царьград. Это вторая книга цикла. Первая книга: "Сага о кухаркином сыне".

© Ожгибесов С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Ожгибесов

Поход на юг

Сага о Самборе. Три шнеки под серым небом

О пользе рыночных сплетен

Полдень на рынке портового города Труссо пахло копчёной селёдкой, смолой, а — если ветер заходил с востока — сушёными яблоками с лавок купца Ждана.

В корчме «У Харальда и Гутторма» пахло лучше. Тут пахло гороховой похлёбкой на бараньей кости, ржаным хлебом с тмином и той особенной домашней сытостью, которую Весняна умела наводить в любом помещении, даже если помещение это было сколочено из корабельных досок пьяным плотником по имени Стейн Косоглазый.

За длинным столом сидели четверо и один.

Четверо — это Самбор, Лепавя, Харальд Сивобородый и грек Гесиод, коего судьба, задолжав ему за прошлые беды, забросила из тёплой Никеи в этот продуваемый насквозь угол мира. Один — это Гутторм, потому что Гутторм за столом никогда не сидел, а нависал. Он считал, что корчмарь должен видеть всё: и кто пьёт, и кто не платит, и кто тянется к чужому блюду.

— Гесиод, — сказал Харальд, аккуратно вылавливая из похлёбки мозговую кость, — вот ты человек учёный. Объясни мне, старику: почему у вас, ромеев, всё названо по-гречески, а платят серебром, на котором написано по-латыни?

— Потому, почтенный ярл, — отозвался Гесиод, промакивая усы, — что говорить красиво и платить честно — два разных искусства, и редко кто владеет обоими.

— Вот! — Харальд ткнул костью в потолок. — Слыхали? Вот за это я его и кормлю. Мудрость. Дёшево обходится, а вкусно.

— Дешевле, чем твоё пиво, — вставила Лепавя, не поднимая глаз от ножа, которым чистила яблоко. Ножей у неё за поясом было семь, но яблоко она чистила всегда одним и тем же — маленьким, с костяной рукоятью, отцовским.

— Моё пиво стоит ровно столько, сколько стоит, — с достоинством сказал Гутторм сверху. — Я варю его из ячменя, а не из слухов.

— А жаль, — вздохнул Самбор, откидываясь к стене. — Из слухов бы в Труссо пивоварня работала днём и ночью и всё равно не поспевала.

И тут — как оно всегда и бывает, когда договорился до нужного слова — дверь хлопнула так, что задрожали висящие под потолком связки лука.

Влетела Дарёнка.

Семнадцать лет, девка на выданье, две рыжие косы (в старшую сестру, только веснушек вдвое больше и языка втрое), корзина на бедре, а в корзине — репа, треска и, судя по выражению лица, весь известный мир целиком.

— Там! — выпалила она, и корзина стукнулась об пол. — Там — три! Три шнеки!

— Дарёна, — строго сказала Весняна, выходя из-за занавески с противнем, — здравствуй сначала.

— Здравствуйте всем добрым людям и Гутторму, — единым духом отчеканила девчонка. — Три шнеки (маленькие дракары) в гавани, у купеческого причала, встали на ночь! И щиты у них не датские, и не готландские, и кормщик, дядька Здебор говорит — а он врать не станет, он только про рыбу врёт, — кормщик говорит, что это Трувора корабли! Княжича Трувора! С Изборска!

В корчме сделалось тихо.

Так тихо, что стало слышно, как в углу муха, с осени решившая перезимовать в тепле, бьётся о слюдяное оконце.

Первым шевельнулся Харальд. Старый ярл положил кость на стол, вытер бороду ладонью — обстоятельно, как перед советом, — и произнёс:

— Ну.

— Что «ну»? — не выдержал Самбор.

— Ну, значит, обед окончен, — сказал Харальд и встал. Кости его при этом хрустнули, как оснастка на повороте. — Гутторм, придержи похлёбку. Весняна, не вздумай убирать пироги. Липа, оставь яблоко в покое, оно уже мёртвое.

— Дед, — сказала Лепавя, вставая, и в глазах её загорелся тот самый лисий огонёк, — ты в кои-то веки говоришь разумные вещи.

Они шли — вернее, почти бежали — вниз по кривой улочке, мимо кузни, мимо лавки, где старик Мешко торговал янтарём и божился, что каждый кусок вынут лично им из брюха морской змеи, мимо луж, в которых отражалось низкое серое небо цвета плохо начищенного шлема.

Гесиод отстал первым.

— Юноша! — крикнул он вслед Самбору. — Скажи мне, скажи, куда мы бежим, спешим? Философы утверждают, что спешка есть признак смятенной души!

— Философы, дядя Гесиод, не сидели с нами в лодке под Ладогой! — отозвался Самбор через плечо.

И вылетел на причал.

Три шнеки стояли борт к борту, покачиваясь и поскрипывая. Сходни были брошены. Люди сгружали мешки, кто-то ругался на сходнях, кто-то торговался с портовым сборщиком, а на самом краю причала, широко расставив ноги, стоял человек в синем плаще с медной застёжкой — и смотрел прямо на них.

Он вырос. Плечи раздались, борода из юношеского пуха стала настоящей, русой и лопа-той. Но глаза остались те же — весёлые, чуть шальные, с той наглостью, за которую его прошлым летом дважды чуть не утопили свои же.

— Трувор! — заорал Самбор.

— Самбор!!!

Дальнейшее не поддавалось описанию с точки зрения приличий. Они сшиблись, как два барана, обнялись, потом Трувор попытался поднять Самбора над землёй, но не преуспел и честно сказал:

— Ты потяжелел!

— А ты обнаглел!

— Я княжич, мне положено!

Потом Трувор увидел Харальда — и вдруг сделался серьёзен, снял с головы шапку и поклонился в пояс, как учили дома.

— Здрав будь, ярл. Кланяюсь тебе — и от себя, и от Ольгоста, и от Синеуса.

— Шапку надень, дурень, — буркнул Харальд, и голос у него подозрительно скрипнул. — Ветер. Уши отвалятся, чем ты потом слушать умных людей будешь.

А Лепавя молча подошла, посмотрела снизу вверх — и вдруг сунула ему в руку то самое очищенное яблоко.

— Держи, княже. Тощий ты какой-то стал. Изборск, видать, кормит хуже, чем Гутторм.

— Изборск, — с чувством сказал Трувор, откусывая, — кормит рыбой, репой и разгово-рами. Причём разговорами — досыта.

Гутторм расстарался.

На столе стояли: похлёбка (та самая, придержанная), жареная треска с луком, каша с салом, две доски копчёного мяса, солёные грибы в глиняной миске, ведро пива и — вершина мироздания — Весняновы пироги с брусникой и морошкой, от одного вида которых грек Гесиод произнёс что-то по-гречески, судя по интонации — молитву.

— Значит, так, — объявил Гутторм, водружая ведро. — Пиво моё. Пироги — Весняны. Правила — мои. Кто станет ножи метать в мою балку, будет платить за балку. Липа, я на тебя смотрю.

— Один раз! — возмутилась Лепавка. — Один-единственный раз, и то потому, что Кривой Освальд полез не туда, куда положено!

— Он потом три дня заикался.

— Он и до того заикался.

— Не так живописно.

Хохот перекатился по корчме.

Трувор ел, как человек, полгода питавшийся репой и разговорами, — то есть быстро, много и с искренней благодарностью. Между третьим и четвёртым куском он поднял кружку.

— За то, что мы все живы. За Ладугу. И за то, чтобы Один ещё немного подождал с приглашением.

— За это пьём стоя, — сказал Харальд.

Выпили. Сели. И, как водится, пошли воспоминания.

— А помнишь, — булькнул Трувор, — как ты, Самбор, полез на стену, а лестница поехала?

— Помню, — с достоинством сказал Самбор. — Я тогда весьма изящно спустился.

— Ты тогда весьма изящно упал на Гутторма!

— Я его смягчил, — заметил Гутторм. — Хотя, честно сказать, надеялся на обратное.

— А как Ивар Бескостный, — подхватил Харальд, — велел вам, щенкам, три дня носить брёвна, и ты, Трувор, княжич, наследник, надежда рода, спросил у него: «А слугам разве нельзя?»

— И он ответил, — Трувор помрачнел от воспоминания, — «Можно. Вот ты и понесёшь. Сегодня ты слуга бревна».

— Мудрый человек, — сказал Гесиод. — Жестокий, но мудрый. У нас в Никее таких ставили ректорами.

— А вот у меня, — сказал Самбор, вытирая пальцы о хлеб, — на той неделе была охота.

— О-о, — протянула Лепавка и подпёрла щёку кулаком. — Слушайте, слушайте. Он эту охоту рассказывает уже пятый раз, и каждый раз кабан растёт.

— Кабан не растёт, — оскорбился Самбор. — Кабан был честный. Он рос только первые два раза, а потом остановился.

— Рассказывай, — велел Харальд.

— Пошли мы, значит, с Гуттормовым племянником Ингве в дубравы, что за солеварнями. Идём. И тут — след. Свежий, глубокий, копыто с мою ладонь. Ингве говорит: «Уходим». Я говорю: «Ты в своём уме? Мы викинги!» Он говорит: «Я корчмарь». Я говорю: «Сегодня ты слуга бревна, тьфу рогатины».

Трувор поперхнулся пивом.

— Ну, пошли по следу. Выходим на полянку — и вот он. Секач. Стоит боком, жёлудь жуёт, на нас — ноль внимания. Я беру лук. Натягиваю. И тут...

Самбор сделал паузу. Он умел делать паузы — научился у Лепавы, а та у отца-скомороха.

— И тут Ингве чихает.

— Ах он...

— Секач разворачивается. Смотрит на нас. И — заметьте, я это подчёркиваю — выбирает Ингве. Из двух человек он выбрал того, кто чихнул. Вот вам, дядя Гесиод, философия: в этом мире наказывают не за злодейство, а за шум.

— Записываю, — серьёзно сказал грек.

— Ингве бежит. Кабан за ним. Я стреляю — и попадаю. В дуб. Отличный дуб, крепкий, стрела вошла на два пальца, я потом полдня её выковыривал. Ингве добегают до старой солеварни — знаете, там сарайчик с бочками — и влетает внутрь. Кабан за ним. И — бум! — врезается в бочку.

— И? — спросил Трувор.

— И бочка была с рассолом. Пятилетним. Ингве на крыше, кабан по брюхо в рассоле, я в дверях с пустым луком и мыслью, что если я сейчас войду, то это будет самая глупая смерть в этом мире. Кабан выбирается. Отряхивается. Смотрит на меня — и, клянусь молотом, вздыхает. Как человек, у которого день не задался. И уходит. Просто уходит в лес.

— И?! — не выдержал Харальд.

— И через два дня, — торжественно закончил Самбор, — в дубраве завёлся Просоленный Вепрь. Местные крестьяне ходят смотреть. Говорят, он теперь не портится.

Хохот встал стеной. Гутторм смеялся беззвучно, тряся плечами. Гесиод хлопал по столу. Весняна, выйдя на шум, только покачала головой и сказала:

— Врёт. Ингве мне рассказывал, что на крышу залез Самбор.

— Мама!

— А кабан ушёл потому, что ты сверху уронил на него мешок с солью, — невозмутимо добавила Весняна и ушла обратно к печи.

— Вот, — сказал Харальд, утирая слёзы. — Вот за что я люблю эту семью. Всегда есть вторая версия.

Когда отсмеялись и Гутторм долил в кружки, Трувор посерьёзnel.

— Ладно. Теперь про дело.

Он отодвинул миску, обмакнул палец в пиво и стал чертить на столешнице.

— Вот Ильмень. Вот Ольховая. На этом берегу Ольгост ставит Новый город — и, надо признать, ставит основательно, с кремлём, с валом, с торгом. А на том берегу, — палец процертил жирную линию, — Олег поставил свой острог.

— Зачем? — спросил Самбор.

— А затем, — Трувор поднял глаза, — что Олег умный. Он думает не на год, а на двадцать. Он смотрит на реку и видит не воду, а пошлину. Он уже сейчас берёт с каждой лодьи, что идёт мимо, и берёт вежливо, но берёт.

— Хороший мальчик, — одобрительно сказал Харальд. — Далеко пойдёт. Надеюсь, не в мою сторону.

— А я, — Трувор ткнул пальцем левее, — сел в Изборске. Крепость на горе, озеро, ключи бьют из-под скалы, вода такая, что пиво варить грех — портить. Дружина у меня — сто сорок бойцов. Земли — сколько глазомхватишь. Соседи — кривичи, чудь и комары размером с воробья.

— Так чего ж ты не сидишь? — прищурился Гутторм. — Всё есть.

Трувор помолчал.

— Всё есть, — согласился он. — Слава Богам, есть. И скука такая, что зимой я считал брёвна в частоколе. Три раза. Каждый раз получалось разное число.

— Это признак, — заметил Гесиод. — В моём отечестве сие называется акедия, уныние сердца. Лечится либо молитвой, либо путешествием.

— Вот я и лечусь, — сказал Трувор. — Слушайте. Аскольд и Дир — помните таких?

Харальд крикнул.

— Помню. Рагнаровы хольды. Хорошие бойцы, скверные подчинённые. Дир жаден, Аскольд горд, и оба умны ровно настолько, чтобы слушаться только Рагнара и Ивара.

— Так вот, они сели в Киеве. Это на Днепре, ниже порогов ещё далеко, город старый, полянский, стоит на горах, торг богатый. Сели крепко, дань берут, и теперь кличут клич: русы, варяги, кто хочет — идите к нам. Пойдём на Миклагард.

Кружка Самбора остановилась на полпути.

— На Царьград?

— На Царьград, — кивнул Трувор. — Причина, между прочим, честная. Прошлой осенью в Миклагарде побили наших купцов. Не обсчитали, не оштрафовали — побили. Двенадцать человек насмерть, товар забрали, а тем, кто выжил, сказали: скажите спасибо, что живые, и больше не приходите. Один из тех купцов был родич Дира.

— Ага, — сказала Лепавя задумчиво. — Значит, месть.

— Месть, — согласился Трувор. — И договор. Аскольд говорит прямо: мы придём под стены, все вокруг ограбим, покажем силу, и они сядут с нами говорить о торге. О пошлинах, о том, где нашим купцам стоять и по какому праву. Такие разговоры, — он усмехнулся, — лучше всего идут, когда собеседник видит твой флот из окна.

— И пограбить, — вставил Гутторм.

— И пограбить, — не стал спорить Трувор. — Немного. По дороге. Исключительно из вежливости, чтобы люди не подумали, что мы возгордились.

Харальд смотрел в стол. Долго.

— Сколько кораблей? — спросил он наконец.

— Аскольд говорит — соберёт двести.

— Аскольд говорит, — фыркнул Харальд. — Значит, будет сто двадцать. Из них тридцать протекнут в первую неделю.

— Сто двадцать — это тоже флот, ярл.

Старик поднял глаза, и в них было то самое, чего Самбор не видел с прошлого лета: холодный, весёлый, молодой блеск.

— Это флот, — согласился Харальд. — Это очень хороший флот. Трувор, сын мой, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Ты приплыл в Тусо и поставил старику на стол миску с приключением. В моём возрасте это либо подарок, либо убийство.

— Я надеялся на подарок, — честно сказал Трувор. — Ярл, пойдёшь с нами?

— Погоди с «пойдёшь», — Харальд отодвинул кружку и накрыл ладонью пивной чертёж на столе. — Сначала — как. Дорогу давай.

— Дорога простая, — начал Трувор. — Вислой вверх. Потом Бугом. С Буга — на Припять, а Припятью — прямо в Днепр. И до Киева.

— Через Пинские болота, — уточнил Гутторм, не отрываясь от кружки.

— Ну... да.

— Я там был, — сказал Гутторм.

Все обернулись. Гутторм редко говорил «я там был». Обычно он говорил «садись, ешь».

— Я там был, — повторил он спокойно. — В болотах между Бугом и Припятью. Волок там есть, да. Только это не волок, а мука Господня. Комар с ноготь, вода до пояса, тропы гати гнилые, и местные тебе покажут дорогу — за серебро, а потом покажут другую дорогу — за другое серебро, тем, кто тебя ждёт впереди. Шнеки мы тащили по бревну, и за день делали полверсты. Из сорока человек четверо остались лежать. Не от стрел. От лихорадки.

Тишина.

— Значит, — медленно сказал Самбор, — есть другой путь?

— Есть, — Харальд макнул палец и провёл новую линию. — Вислой не до Буга, а выше — до Сана. Сан идёт на юг, к горам. От верховьев Сана до Днестра — сухой волок. Сухой, слышите? Земля, а не жижа. Там и катки положить есть на что, и волов нанять у местных.

— Далеко тащить? — спросила Лепав.

— Говорят, две седмицы дневных переходов. Врут, конечно. Значит, три.

— А потом?

— А потом Днестр, — Харальд усмехнулся. — И Днестр несёт тебя сам. Вниз, вниз, до самого моря, мимо тиверцев и уличей — а они, между прочим, торгуют, а не режут, если к ним по-человечески. Выходишь в море у устья — и ты уже почти у ромеев. Аскольда там и ждать надо, он мимо не проплывёт.

— Но это не через Киев, — заметил Трувор. — А я обещал Аскольду прийти в Киев.

— Ты обещал Аскольду прийти, — поправил Харальд. — Место встречи он тебе назначил, но море одно. Пошли к нему гонца. А сам иди Саном.

Трувор задумчиво поскрёб бороду.

— Хитро.

уже не умею.

— Ты в прошлом году на стену влез третьим, — напомнил Самбор.

— Я влез третьим, потому что первые двое расчистили дорогу. Вот это и есть хитрость, мальчик. Запиши.

И тут Харальд помрачнел.

Так резко, что даже Дарёнка, крутившаяся возле стола с кувшином, замерла.

— Одно, — сказал старик. — Одно только «но», и оно весит сорок вёсел.

— «Ведьма», — тихо сказал Самбор.

— «Ведьма», — кивнул Харальд.

Все замолчали. «Морская ведьма» стояла сейчас у дальнего причала, вытасченная на слип, — длинный, чёрный, зализанный корпус, тридцать шесть пар вёсел, драконья голова снята и лежит в сарае, завёрнутая в промасленную холстину, чтобы не пугать местных духов. Девять лет. Четыре моря.

— Такую по суше не потащишь, — сказал Гутторм. — Три дня волока по земле — и она сядет килем, а потом развалится на первой же волне. Это не шнек или ладья. Это боевой корабль, он под весло сделан, не под бревно.

— Знаю, — буркнул Харальд.

— Так продай.

— Что?

— Продай, — спокойно повторил Гутторм, вытирая руки о фартук. — Ярл, ты меня знаешь двадцать лет. Я тебе не лъщу и не вру. За «Ведьму» в Труссе дадут хорошо — здесь стоят датчане, у них флот, они за такой корпус выложат серебром. На эти деньги ты купишь две шнеки — новые, лёгкие, с плоским днищем. И ещё останется на снасть, на парус и на то, чтобы твои люди не ели по дороге кору.

Харальд молчал так долго, что Гесиод начал беспокойно ёрзать.

— Гутторм, — сказал наконец старик очень ровно, — ты понимаешь, что ты сейчас предложил мне продать?

— Понимаю. Дерево и гвозди.

— Ты...

— Дерево. И гвозди, — Гутторм не отвёл глаз. — Всё остальное — это ты, ярл. Память не в киле живёт. Память в тебе живёт, а тебя никто не покупает.

Харальд отвернулся. Пожевал губами. Взял кружку, поставил, не отпив.

— Не могу, — сказал он глухо. — Слушайте, я старый жадный сволочной дед, я продавал коней, я продавал дома, я один раз продал покойной жены ларец, когда она еще жива была, за что до сих пор перед богами стыжусь. Но её — не могу. Он замолчал.

Лепав молча подвинула ему пирог. Просто подвинула.

— Ярл, — осторожно сказал Самбор. — А если не продавать?

— Как?

— В залог.

Харальд поднял голову.

— Смотри, — Самбор придвинулся. — Тут же полно народу, у кого корабли есть, а серебра нет. И наоборот. Найдём человека — не купца-кровопийцу, а корабельщика, — чтобы он дал нам две карви под залог «Ведьмы». Он её на слипе держит, стережёт, смолит по весне, пользуется, если надо, — но не владеет. Мы вернулись, привезли серебро из-под Царьграда — выкупили. Не вернулись — что ж, тогда нам всё равно, а у него честная плата за риск.

— Ростовщичество, — с наслаждением сказал Гесиод. — Юноша, у вас в Никее было бы блестящее будущее.

— Это не ростовщичество, это залог, — обиделся Самбор. — Ростовщичество — это когда с процентом.

— С процентом, — мягко сказал Гесиод, — будет обязательно. Просто пока вы этого не знаете.

— Есть такой человек, — вдруг сказал Гутторм. — Хродгейр Слепой. Корабельщик с южного слипа. Слеп на один глаз, зато вторым видит больше, чем иные двумя. У него две карви на верфи стоят готовые — заказчик помер, не расплатившись. А «Ведьму» он двадцать лет облизывает глазами, я сам видел. Он на неё смотрит, как я на Весняну.

Из-за занавески донёсся звук уроненной сковороды.

— Гутторм! — рявкнула Весняна.

— Молчу.

Харальд медленно расплылся в улыбке. Впервые за весь разговор.

— Хродгейр, — сказал он. — Хродгейр... Да. Хродгейр её не изувечит. Он лучше сам ноги протянет, чем даст ей рассохнуться.

Он поднял кружку и осушил её до дна.

— Ладно, — сказал он, стукнув донцем о стол. — Значит, две карви. Значит, Сан. Значит, Днестр.

— Значит, ты идёшь? — уточнил Трувор.

Харальд удивлённо посмотрел на него.

— А я разве не сказал? Я, по-моему, уже полчаса как иду. Я тут дорогу выбираю, корабли меняю — а он спрашивает, иду ли я. Молодёжь.

— Теперь вы, — Трувор развернулся к Самбору и Лепаве.

Самбор посмотрел в свою кружку. Кружка ничего умного не подсказала.

— Слушай, — начал он. — Ты пойми правильно. Я не боюсь.

— Знаю.

— Просто... — Самбор поискал слова. — Мать. Дарёнка. Корчма вот эта. Мы её вместе строили, я вот эту балку сам тесал, а вон ту Липа ножом попортила...

— Один раз! — из угла.

— Мы полтора года дрались за то, чтобы у нас был дом. И вот он есть. И теперь мне предлагают его снова бросить. За море. Ради серебра, которое мы, может, и не увидим.

Трувор кивнул. Не стал спорить. И это было хуже всего.

— Знаешь, что мне сказал Ольгост, когда я уезжал? — сказал он вместо этого. — «Ты сядешь в Изборске и станешь князем. Через десять лет тебя будут звать Трувор Изборский, и это будет твоё имя навсегда». И я подумал: а через двадцать? Через двадцать лет меня будут звать Трувор, который считал брёвна.

Он наклонился вперёд.

— Самбор. Мы с тобой ходили на Ладогу. Ты меня вытащил из-под щитов, когда мне ногу зажало. Я тебе за это должен, и ты знаешь, что я долги плачу. Так вот я тебе плачу — не серебром. Я тебе поход на Царьград предлагаю.

— Царьград, — эхом повторил Самбор.

— Миклагард или Константинополь, — тихо сказал Гесиод, и в его голосе что-то надломилось. — Юноша, вы не понимаете. Вы просто не понимаете. Там стены в шесть человеческих ростов, и они белые. Там купол Святой Софии стоит в воздухе, как если бы Бог подвесил его на золотой цепи. Там на ипподроме шестьдесят тысяч человек кричат разом, и от этого крика дрожит земля. Там улицы мостят камнем, а в домах есть вода — просто есть, в трубе, поверните — и течёт.

— Врёшь, — убеждённо сказала Дарёнка.

— Вру, — согласился Гесиод. — Наполовину. Но за какую половину — не скажу. Придётся смотреть самим.

Левапа медленно улыбнулась. Той самой улыбкой.

— Самбор.

— Что?

— Он сказал: вода в трубе.

— И что?

— Я хочу посмотреть на трубу.

— Липа!

— А что «Липа»? — Она положила локти на стол. — Я полгода уже подаю пиво чужим людям, милый мой. Мне это, между прочим, нравится, я тут хозяйка, меня уважают и боятся. Но батя мой всю жизнь ходил по земле и рассказывал людям про то, чего они не видели. А я теперь буду рассказывать про то, что видела сама. Это, знаешь ли, повышение.

— А Дарёнка?

Тут все посмотрели на Дарёнку.

Дарёнка выпрямилась, поставила кувшин и сказала звонко:

— А я тут останусь. С тётей Весняной и дядей Гуттормом. И буду за всеми смотреть. И записывать в память, кто сколько выпил и не заплатил, потому что Гутторм всё забывает, а я нет.

— Я не забываю. Я прощаю, — сказал Гутторм.

— Это одно и то же, только дороже.

Харальд хлопнул ладонью по столу.

— Вот! Вот эта — точно её сестра. Гутторм, ты идёшь?

Гутторм неторопливо поставил ведро на пол.

— Нет.

— Как — нет?

— Так. Нет, — Гутторм скрестил руки на груди, и стало окончательно ясно, что эту стену не сдвинешь. — Ярл, ты меня двадцать лет знал и в хирде и как купца и вот уже полтора года знаешь в фартуке. Так вот, я в фартуке счастливее. У меня тут пивоварня, у меня погреб, у меня двенадцать бочек зреют, и если я уйду, к осени тут будет пустой сарай и три пьяных датчанина в углу.

— Гутторм!

— И ещё, — Гутторм посмотрел на Харальда очень прямо. — Если вы все уйдёте и никто не вернётся — куда придут те, кто вернётся? Кому-то надо остаться и держать дверь открытой. Ты меня понял, старый?

Харальд открыл рот. Закрыл.

— Понял, — сказал он хрипло. — Ты сволочь, Гутторм.

— Я корчмарь. Это почти то же самое, только сытнее.

Всё это время Весняна стояла у печи.

Она не сказала ни слова. Ни разу. Она вынула противень, переложила пироги на блюдо, посыпала мукой доску, поставила новую опару. Руки её делали то, что делали двадцать лет, и делали правильно.

Самбор поймал её взгляд один раз — когда Трувор сказал «Царьград».

Он ничего не прочёл. Она успела отвернуться.

Позже, когда Трувор с Харальдом уже спорили о том, сколько катков нужно на три недели волока, а Гесиод чертил на доске какую-то греческую цифирь, Самбор встал и подошёл к печи.

— Мам.

— Хлеб на завтра надо, — сказала Весняна, не оборачиваясь.

— Мам, я ещё ничего не решил.

— Ты решил, — сказала она. — Ты решил в тот миг, когда Дарёнка дверь открыла. Я по спине твоей видела. У тебя спина выпрямилась.

Он молчал.

— Я тебя тогда ждала, — сказала Весняна тихо, месив тесто. — Я думала — вот, кончилось. Дом, печка, сын под боком.

— Мам...

— Не перебивай. — Она обернулась, и глаза у неё были сухие. Это было хуже, чем если бы мокрые. — Я тебя не держу, Самбор. Я один раз пробовала держать — тогда, в Любше, за рукав. Ты руку вырвал и побежал за Гориславом, и ты был прав, а я нет. Больше не буду.

Она снова отвернулась к тесту.

— Только одно.

— Что?

— Вернись, — сказала Весняна. — Не с серебром. Не со славой. Просто вернись. У меня, кроме тебя, ничего не осталось, кроме этой печки. А печка, — она горько усмехнулась, — печка меня не переживёт.

Самбор постоял. Потом обнял её сзади, прижался щекой к плечу — как в семь лет, когда боялся грозы.

— Вернись, — сказал он. — И привезу тебе подарок от греков.

— Дурак, — сказала Весняна.

И заплакала — уже спиной, чтобы не видел.

Разошлись за полночь.

Харальд решил что пойдет к Хродгейру Слепому — утром, потому что «такие дела делаются на трезвую голову». Трувор захрапел прямо на лавке, накрывшись плащом, и во сне командовал: «Левее держи, левее!» Гесиод писал что-то на восковой табличке при свече, беззвучно шевеля губами. Гутторм считал бочки.

Самбор и Лепавица вышли на крыльцо.

Ветер зашёл с моря. Пахло солью, водорослями и той далёкой чужой весной, которая где-то там, за тремя реками и одним волоком, уже цвела над белыми стенами города, где вода течёт из трубы.

— Страшно? — спросила Лепавица.

— Да.

— Хорошо, — сказала она и взяла его за руку. — Значит, ты поумнел. В прошлый раз тебе не было страшно, и ты был идиот, мой Сольвейг.

Они постояли.

— Липа.

— М?

— А ведь мы вернёмся, — сказал Самбор.

Левава не ответила. Она смотрела на гавань, где на чёрной воде покачивались три шнеки, а чуть дальше, на слипе, лежала длинная тень «Морской ведьмы» — терпеливая, как старая собака, ждущая, когда хозяин наконец возьмёт поводок.

— Знаешь, — сказала она наконец, — я одного не пойму.

— Чего?

— Как этот твой Просоленный Вепрь. Он же теперь не портится. Может, его с собой взять? Провиант на весь поход.

— Липа!

— А что? — она блеснула лисьей улыбкой в темноте. — Ярл говорит, до Днестра три реки и один волок. С таким припасом мы бы и до Иерусалима дошли.

И засмеялась — тихо, чтобы не разбудить спящего князя, который во сне всё ещё держал левее.

Так началась вторая сага о Самборе, сыне Весняны, — и, как всякая порядочная сага, началась она за столом, с миски похлёбки и одного очищенного яблока.

Два карви, семь потов и Просоленный Вепрь возвращается

Была середина весны. Точнее — по словам Гесиода, «шестнадцатый день месяца апреля восьмьсот шестидесятого года от Рождества Господа нашего».

— От чьего рождества? — уточнил Гутторм, не отрываясь от бочки.

— Христова.

— А от сотворения мира сколько?

— Шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь, — вздохнул грек. — Или четыреста шестьдесят девять. Или пятьсот двенадцать, если верить александрийцам, чтоб им пусто было. Видишь ли, друг мой Гутторм, богословы спорят о возрасте мира с таким жаром, будто сами при том присутствовали и держали свечку.

— И ты чего?

— И я, — Гесиод скромно опустил глаза, — веду счёт по-своему. От Рождества. Мне так удобнее. Число короче, и в него никто не лезет. **Такое** летоисчисление, от Рождества Христова, было введено три века назад, римским монахом Дионисием Малым по поручению папы Иоанна I

— Хитрый ты, грек, — уважительно сказал Гутторм. — Своё летоисчисление завёл. Как я — свою меру пива.

— А какая у тебя мера?

— Кружка. Но кружки у меня три, и все называются кружка.

— Вот, — сказал Гесиод. — Вот это и есть настоящая наука.

Так или иначе, был апрель. Лёд с Вислы сошёл, гавань Трусо оттаяла, вода воняла тиною и смолой и над всем этим стоял ровный деловой гул, какой бывает в порту только весной, когда полгода накопленных планов вдруг разом вспоминают, что у них есть ноги.

Хродгейр Слепой был похож на старый рыболовный крючок: такой же кривой, ржавый и такой же неотцепляемый.

Он обошёл «Морскую ведьму» четырежды. Он гладил её борта. Он лёг на спину под килем и лежал там так долго, что Самбор всерьёз забеспокоился, не помер ли.

— Швы, — сказал наконец Хродгейр, вылезая. — Швы у неё под третьим поясом сдают. Ты, ярл, её на камни сажал.

— Один раз.

— Три.

— Один раз всерьёз, — с достоинством уточнил Харальд, — а два раза так, слабенько.

Торговались они полдня. Кричали. Мирились. Плевали в ладони. Расходились навсегда — трижды. Гесиод, приглашённый в качестве писца и свидетеля, к полудню исписал две таб-

лички, а к вечеру сказал, что теперь понимает, отчего в Ромейской державе судопроизводство длится годами: у них просто нет пива.

Кончилось тем, что Хродгейр дал два карви.

Ладьи по славянски. Пузатенькие, светлые, из свежей сосны и дуба, пахнувшие смолой так, что кружилась голова.

Одна — шестнадцать пар вёсел, осадка в поларшина с ноготком (Гесиод, помучившись, записал: «два фута без малого, сиречь ноль целых пять десятых метра ромейского счёта, коего здесь никто не понимает»). Вторая — четырнадцать пар, и сидела в воде ещё легче: ноль целых четыре.

— Вот на такой, — сказал Хродгейр, любовно шлёпнув по борту, — ты, ярл, по луже пройдёшь. По росе пройдёшь. Волоком её потащишь — она и не заметит.

— А «Ведьма»?

— А «Ведьма» будет стоять у меня на слипе под навесом. Я её просмолю. Я ей швы переберу. Я ей, — Хродгейр понизил голос, — новый форштевень поставлю, у меня дуб на него сохнет восьмой год, я его берёг, сам не знал для кого.

Харальд посмотрел на него долгим взглядом.

— Ты её не продашь.

— Я скорее себя продам, — искренне сказал одноглазый.

— Тогда по рукам.

Ударили. Гесиод записал: залог, срок два года, выкуп серебром или равным весом товара, и — тут грек всё-таки настоял — «а буде судно погибнет по вине держателя, то держатель платит виру». Хродгейр подписал не глядя. Он уже мысленно смолил.

Уходя, Харальд обернулся у ворот верфи, посмотрел на длинную чёрную тень под навесом и сказал негромко, ни к кому не обращаясь:

— Потерпи, старуха. Я вернусь.

Самбор сделал вид, что разглядывает облака.

Ладьи требовалось назвать. Это дело серьёзное, и потому за него взялись всем миром, что немедленно привело к катастрофе.

Гутторм предложил «Похлёбка», мотивируя тем, что название честное и сытное. Дарёнка предложила «Ласточка», за что была осмеяна как девчонка. Гесиод предложил «Арго», после чего сорок минут объяснял, кто такой Ясон, и был выслушан с уважением, но без последствий.

Победил, как всегда, Харальд.

Большую, на шестнадцать пар весел, он назвал **«Волчица»**.

Малую, на четырнадцать, он назвал **«Сорока»** — за светлые бока и чёрную смолёную полосу вдоль борта.

— И на «Сороку», — сказал ярл, оглядев собравшихся у костра вестфольдингов, — сти-рэсманом идёт Самбор, сын Весняны.

Стало тихо. Не враждебно — просто внимательно. Сорок с лишним мужиков, ходивших с Харальдом от Роскилле до Ладogi, разом посмотрели на восемнадцатилетнего парня и подумали одну и ту же мысль.

— Молод, — сказал кто-то в задних рядах, честно и без злобы.

— Молод, — согласился Харальд. — Зато храбр и удачлив! Ещё возражения?

Возражений не последовало. Вестфольдинги — люди простые: они уважают «Удачу».

— Помощником и сменным рулевым к нему, — продолжал ярл, — Бьярни.

Из толпы вышел, ухмыляясь, человек лет тридцати. Теперь его звали Бьярни Красавчик, и звали за дело: девки в Роскилле из-за него дрались, и одна, говорят, утопила соперницу в чане с суслом. Теперь от подбородка через щёку до самой скулы шёл рваный лиловый рубец — след ладожского топора, — и лицо от этого стало кривым, будто Бьярни навсегда решил подмигнуть всему миру сразу.

Прозвище, разумеется, осталось. Народ у моря беспощаден.

— Ну здравствуй, кормщик, — сказал Бьярни и протянул лапу. — Не бойсь, парень. Я на руле стоял, когда ты ещё материн подол за парус держал. Ты командуй, а я буду делать вид, что слушаюсь.

— А если я скомандую глупость?

— Тогда я сделаю умно, — жизнерадостно сообщил Бьярни, — а вечером расскажу всем, что это была твоя мысль. Так делают все хорошие помощники. Плохие рассказывают правду и потом ходят пешком.

Набирали по два человека на весло — на смену. Стало быть, на «Волчью долю» шестьдесят четыре гребца, на «Сороку» пятьдесят шесть, плюс кормщики, плюс те, кто по бою нужен, а по гребле бесполезен.

Основа была своя — вестфольдинги с «Морской ведьмы». Половину года они прожили в Трусо на положении, о котором Харальд договорился с местным князем: сторожили купеческие склады у гавани да ходили ночными дозорами по улицам — двойками, с копьями и фонарём. За это получали кров, дрова, кашу и иногда право пить у Гутторма в долг. Серебро же, взятое под Ладогой, растаяло, как весенний лёд: у кого на девок, у кого на кости, у кого — самый честный случай — просто само по себе.

Поэтому, когда по гавани прошёл слух «Сивобородый идёт на Миклагард», очередь выстроилась ещё до того, как Харальд успел выставить бочку.

Ярл сидел на перевёрнутой лодке, как на престоле. Рядом Гесиод с табличкой. Сбоку — Бьярни, для устрашения и увеселения.

— Имя?

— Торкель.

— Прозвище?

— Тихий.

— Врёшь.

— Вру, — сокрушённо признал Торкель. — Крикливый.

— Записывай, грек: Торкель Крикливый. Грести умеешь?

— С девяти лет.

— Драться?

— С восьми.

— Хорошая семья, — одобрил Харальд. — Иди к бочке.

Следующим протолкался тощий длинноносый парень в новом плаще и с новым же мечом, на котором ещё виднелись следы лавочной смазки.

— Я Сигурд, — сказал он звонко. — Я желаю славы.

Вестфольдинги дружелюбно заржали.

— Славы, — повторил Харальд задумчиво. — Славы у нас, парень, полный трюм, только она не продаётся и не варится. Ты грести-то будешь?

— Я? Грести?! Я сын...

— Тогда до свиданья.

— Но...

— Слушай сюда, — Харальд наклонился. — В походе слава достаётся тому, кто дожил до дележа добычи. А до дележа доживает тот, кто три недели подряд гребёт по двенадцать часов и не ноет. Славу тебе твою через шесть недель на вёслах выдадут. Кровавыми мозолями. По две штуки на ладонь. Пойдёшь?

Сигурд сглотнул.

— Пойду.

— Умница. Записывай, грек. Сигурд... как тебя?

— Сигурд Красивый, — подсказал Бьярни.

— Записал, — сказал Гесиод. — Дивные у вас имена, друзья мои. Прямо Гомер.

Брали не всех. Одного отвергли за трясущиеся руки, другого — за то, что «уже трижды тонул, а это, брат, не невезенье, это талант». Третьего, здоровенного фриза, Харальд взял было, но Бьярни шепнул ему что-то на ухо, и фриза мягко попросили. Потом Самбор узнал: фриз славился тем, что в бою всегда стоял позади своего же строя.

— Такой не побежит в драку, — объяснил Бьярни.

К концу второй недели списки были полны. Гесиод выводил на восковых табличках по-гречески, поверяя каждое имя вслух и приводя владельцев имён в трепет: слышать себя написанным они не привыкли.

— Ты чего делаешь, книжник? — спросил его Торкель Крикливый.

— Обессмерчиваю тебя.

— А это больно?

— Пока нет.

Тренировки шли и раньше — Харальд не умел иначе. Теперь они стали вдвое длиннее и втрое злее.

Утро начиналось с бега вдоль берега — в кольчугах, по мокрому песку, где нога проваливается и ты тратишь силы вдвое. Потом — щитовой строй. Потом — вёсла: не на воде, а на суше, на брёвнах, под счёт, до онемения плеч. И только потом, когда ноги уже дрожали, — оружие.

— Усталый боец — настоящий боец, — приговаривал Харальд, прохаживаясь вдоль ряда. — Свежим-то и дурак хорош. А ты мне покажи, каков ты на третий час, когда щит весит, как бык, и в глазах красно. Вот тогда я и узнаю, кто ты. Сигурд! Локоть!

— Я не могу больше!

— Прекрасно. Всё, что ты делаешь после «не могу», — это и есть ты. Остальное — так, разминка совести.

Самбор за последние полтора года изменился так, что мать иногда останавливалась посреди двора, глядя ему в спину, и не сразу узнавала.

На копьях он сравнился с Харальдом. Это признал сам ярл — правда, по-своему:

— На копьях ты меня достал. Но учти, я на двадцать лет старше и на два ранения тяжелее, так что радость твоя половинная.

На мечях со щитом Харальд его по-прежнему бил. Не силой — опытом: он умел ждать, умел скучно, тупо, безжалостно давить и в нужный миг раскрыться так, что бросаться на эту дыру было равносильно самоубийству. Самбор бросился четыре раза. Четыре раза получил плашмя по рёбрам и бедрам.

Зато когда Самбор брал в правую свою булатную саблю, а в левую — короткое копьё...

Тут начиналось другое.

Сабля живёт не так, как меч. Она не рубит — она режет, она течёт, она уходит из-под связывания, как вода из горсти. А копьё в левой держит дистанцию, рубит голень под щитом, колет в лицо или рубит туда же. Оно же и блокирует меч.

— Опять! — рявкнул Харальд на пятый день, отскакивая и потирая коленку, куда его достало копейное древко. — Ты дерёшься не по-людски.

— Я дерусь так, как ты меня учил.

— Я тебя такому не учил!

— Ты меня учил, что правильно — это то, после чего ты живой.

Вестфольдинги, сидевшие вдоль стены, взвыли от восторга.

Харальд постоял, отдышался, потом вдруг захохотал и швырнул щит в песок.

— Всё. Всё, щенок. Больше я тебя учить не буду — теперь ты меня учишь, а я за это не плачу. Бьярни! Смени меня, а то он меня добьёт при свидетелях, и вся моя посмертная слава будет — «убит мальчишкой у корчмы».

Из лука Самбор стрелял отменно. Полсотни шагов, соломенный щит, пять стрел в ладонь — обычное дело.

Но Лепавя стреляла лучше, и это было даже не обидно, это было как погода.

Вестфольдинги ходили смотреть на неё, как на чудо. Она стояла боком, свободно, будто и не целясь, и рука её жила отдельной, быстрой, злой жизнью: тетива, стрела, тетива, стрела, тетива. Три выстрела на два счёта сердца.

Однажды над берегом летела ворона — высоко, лениво.

— Липа, — сказал Бьярни лениво, — сбей.

Она сбила первой стрелой. А потом, пока чёрное тело валилось с высоты, всадила в него ещё три.

Ворона легла на песок, ошетилившись, как ёж.

Молчание было долгим.

— Слушай, — сказал наконец Торкель Крикливый очень тихо. — А она за нас?

— За нас, — успокоил Бьярни.

— Тогда я спокоен, — сказал Торкель и, подумав, добавил: — Наполовину.

За три дня до отхода Харальд объявил охоту.

— Мясо нужно, — сказал он деловито. — Солонину в бочки. Три недели вверх по Висле, на одной каше люди звереют.

Но все понимали: дело не только в мясе. Перед долгой дорогой команде надо один раз выйти вместе — не на учебное поле, а туда, где по-настоящему могут убить. Чтобы люди узнали друг друга не по разговорам.

Пошли двадцать два человека, две собаки, взятые взаймы у соседа, четыре рогатины, луки и — по настоянию Гесиода — сам Гесиод.

— Я желаю видеть, — заявил грек, — как варвары добывают пищу. Для описания.

— Ты, главное, описывай и позади держись, — посоветовал Бьярни.

Дубравы за солеварнями стояли в первой листве — той прозрачной, ядовито-зелёной, сквозь которую ещё видно небо. Под ногами хрустело, пахло прелью и черемшой. Собаки вели прекрасно, семьи подсвинок уже дважды выходили на них, и первые два часа охота шла так гладко, что Харальд начал мрачнеть.

— Слишком хорошо, — бурчал он. — Не бывает.

И оказался прав. На них выскочило опять стадо свиней.

Первого секача взяли чисто: собаки прижали его в буреломе, Торкель с Сигурдом подперли рогатинами, Самбор ударил копьём под лопатку. Зверь был хорош — пудов на десять, с жёлтыми, загнутыми, отполированными о деревья клыками.

Ещё одну подняли ближе к полудню, в осиннике у ручья, и вот тут начался ужас.

Она вышла не одна.

Свинья-матка — а всякий охотник знает, что matka с поросятами страшнее любого секача, потому что секач дерётся за себя, а она за детей, и в этой разнице лежит вся разница между дракой и войной, — вылетела из ольшаника сбоку, откуда её никто не ждал.

Она снесла первую собаку. Просто снесла — та отлетела с визгом и больше не встала.

Она прошла вдоль цепи, как коса.

— Строй!! — заорал Харальд.

Сигурд Красивый не успел ни встать в строй, ни убежать: он оказался прямо на её пути. И — надо отдать парню должное — он не побежал. Он выставил рогатину.

Рогатину matka отбила рылом, будто соломину, и ударила его в бедро.

Он покатился по земле, крича — по-настоящему, тонко, страшно, не как кричат в учебных боях.

Дальше всё было за два счёта.

Самбор прыгнул вбок — не к нему, а наперерез, — и вогнал копьё зверю в шею. Древко согнулось, застонало и лопнуло. Матка развернулась к нему, и он увидел прямо перед собой маленькие, налитые красным, абсолютно осмысленные глаза.

Он успел только выдернуть большой свой нож.

И тут ударила Лепава.

Три стрелы — в шею, в шею, в глаз — так быстро, что звук тетивы прозвучал одним долгим шелестом. Зверь споткнулся, будто налетел на невидимую стену, повело вбок — и Бьярни, подскочивший сзади, добил рогастиной под сердце, всем весом, упершись пяткой в корень.

Стало тихо. Только визжали в ольшанике поросята да хрипел Сигурд.

— Живой?! — Харальд был уже возле него, разрывая штанину.

Клык вспорол бедро вдоль — длинно, но, по счастью, не поперёк и не глубоко: жила уцелела.

— Держите его, — велел Гесиод, стягивая с себя пояс и опускаясь на колени. Руки у грека, к общему изумлению, не дрожали. — Крепче. Так. Вино есть? Не пить! Лить!

— Вино — рану?! — ахнул Торкель. — Добро переводить!

— В Никее, друг мой, — сквозь зубы сказал Гесиод, промывая, — так делают со времён Галена. И знаешь, что удивительно? В Никее люди после этого чаще живут.

Он зашил рану суровой ниткой, обмотал чистым полотном и, поднявшись, вдруг покачнулся и сел на корягу.

— Вот теперь мне дурно, — сообщил он с достоинством. — Я, знаете ли, книжник. Мне положено.

Сигурда несли на плаще. Он был бледен, но, когда кто-то из вестфольдингов сказал: «Ну, парень, ты рогастину сурово держал», — заулыбался блаженно, как пьяный.

Идти в поход ему теперь было нельзя.

Он аж заплакал от обиды, а Харальд сидел рядом, налил ему пива и сказал:

— Слушай сюда, Красивый. Ты не побегал. Понял? Это уже сказано и записано, у нас вон грек всё пишет. Мы вернёмся через год — придёшь. Молодой ещё.

— А если не вернёшься?

— Тогда, — Харальд усмехнулся, — тогда ты в выигрыше, а нам будет неудобно.

Но настоящее случилось под вечер.

Уже собирались домой, уже вязали туши на волокуши, когда собака подняла из подлеска у старой солеварни третьего.

Он вышел на прогалину сам. Не выскочил — вышел. Огромный, чёрный, седой в холке, старый секач с обломанным левым клыком, и от него за десять шагов шибало в нос густым, ядрёным, до слёз знакомым духом.

Рассолом.

Пятилетним.

Наступила мёртвая тишина. Собака села и почему-то заскулила.

— Не может быть, — прошептал Бьярни.

— Он, — выдохнул Самбор. — Клянусь молотом. Это он.

Кабан оглядел вооружённую толпу без всякого испуга. С усталым, философским презрением существа, которое уже видело этих людей и не составило о них высокого мнения. Взгляд его нашёл Самбора, задержался.

И зверь — Гесиод потом клялся на Евангелии, и его почти никто не поднял на смех, — зверь вздохнул.

— Ярл, — сказал Самбор странным голосом. — Не надо.

— Ты в своём уме? Это ж пудов пятнадцать мяса!

— Он солёный, — сказал Самбор. — Такое мясо есть нельзя. Оно... уже готовое. А по морскому закону чужой припас не берут.

Вестфольдинги дружно, серьёзно, обстоятельно закивали. Морской закон — дело святое, а хорошая байка — тем более.

Харальд поглядел на кабана. Кабан поглядел на Харальда.

— Ладно, — сказал старый ярл и опустил рогатину. — Живи, дед. Мы с тобой одной породы: оба старые, оба солёные, обоим не берёт ни ржа, ни время.

Секач фыркнул, повернулся и неторопливо, вразалочку, ушёл в осинник — как хозяин, проводивший загостившихся.

С того дня в команде «Сороки» появилась примета: если кто на борту ныл, ему говорили: «Не порть рассол».

Ушли на третье утро после охоты, в конце апреля, по большой воде.

Гавань Трусо была забита народом с рассвета. Пришли все: купцы, которых вестфольдинги полтора года сторожили по ночам; девки, из-за которых дрались; кузнец, ковавший наколенники в долг; портовый сборщик, честно списавший половину пошлины «на богоугодное дело избиения греков» (Гесиод при этих словах закрыл лицо руками); и, разумеется, князь со свитой, приехавший верхом и произнёсший короткую речь, из которой все запомнили одно слово: «наконец-то».

Пять кораблей стояли носами к реке.

Три шнеки Трувора — просмолённые, тёмные, с круглыми щитами по бортам.

И два новеньких карви — светлая, широкая «Волчица» и более лёгкая, узкая, поджарая «Сорока».

Весняна вышла на причал с двумя корзинами. В одной были пироги — с брусникой, с морошкой, с рыбой. В другой — сухари, потому что мать есть мать и знает: пироги кончатся на второй день, а Висла река длинная.

Она обняла сына. Ничего не сказала. Сказала только, отстранившись и поправив ему ворот:

— Ремень подтяни. Свалятся.

— Мам, они не свалятся.

— Подтяни.

Он подтянул.

Дарёнка ревела в голос, без стеснения, и одновременно кричала Лепаве:

— Липка! Ты про трубу мне узнай! Правда там вода течёт?! Правда?!

— Узнаю! — крикнула Лепавка с борта. — А если врёт — я его самого в трубу засуну!

— Дитя моё, — оскорблённо сказал Гесиод, устраиваясь на своём сундуке между гребцами, — я никогда не врал. Я лишь избирательно вспоминал.

Гутторм стоял на краю причала, огромный, в фартуке, с полотенцем через плечо, будто вышел на минутку из зала и сейчас вернётся к бочкам. Он не махал. Он просто стоял.

— Гутторм! — крикнул Харальд с кормы «Волчицы». — Дверь!

— Открыта! — рявкнул корчмарь так, что чайки взлетели с крыш. — Слышишь, старый?! Открыта будет! Хоть через год, хоть через три! Приходи домой хоть без корабля, хоть без руки — я тебе всегда налью!

— А если без серебра?

— Тем более!

Харальд отвернулся и долго смотрел вперёд, на реку, и никто не стал спрашивать, почему у него блестят глаза. Ветер. Всем известно — ветер.

Хродгейр Слепой стоял чуть в стороне, у своего слипа, положив ладонь на чёрный борт «Морской ведьмы». Он поднял руку — один раз, коротко. Харальд поднял в ответ.

— Вёсла на воду! — скомандовал Трувор с головной шнеки, и голос у княжича сорвался от радости, и он этого даже не заметил. — Пошли, братья! Левее держи!

— Он и наяву держит левее, — заметил Бьярни.

Самбор встал к рулевому веслу «Сороки». Тёплое дерево легло в ладонь, как рукоять сабли, — привычно и правильно. Пятьдесят шесть человек смотрели ему в спину и ждали слова.

Ему было восемнадцать лет, и от этого слегка кружилась голова.

— Ну, — сказал он громко. — Пошли, что ли.

— Вот это речь, — с уважением сказал Бьярни. — Коротко. Сага запомнит.

Вёсла ударили разом.

Толпа на пристани взревела — разноголосо, весело, с присвистом, со слезами, кто-то бил в бочку, кто-то в щит, мальчишки бежали по берегу до самого поворота и махали шапками. Весняна стояла неподвижно, прямая как свеча, и мука на её руках белела на весеннем солнце.

Пять кораблей вышли на стрежень и повернули носами против течения — вверх, туда, где Висла уходила в зелёную дымку, к Сану, к сухому волоку, к Днестру, к морю и к белым стенам, за которыми в трубах течёт вода.

Гесиод развернул табличку, обмакнул стиль и вывел, старательно и мелко:

«Года 860 от Рождества Христова, месяца апреля, в 29-й день, вышли из эмпория Трусо пять кораблей, а людей на них триста без малого. Куда придут — Бог весть. Записал я, Гесиод из Никеи, будучи трезв, чему сам удивляюсь».

Потом подумал — и приписал ниже:

«Р. S. Вепрь остался жив. Полагаю, это добрый знак. Хотя, может быть, дурной — для греков».

«Плоцкие боги, чужие коровы и вежливые люди с топорами»

Висла текла лениво, будто ей самой было интересно, куда это собрались пять кораблей и триста мужиков с оружием.

Первые семь дней прошли так гладко, что Бьярни Красавчик начал нервничать.

— Не нравится мне это, — сказал он на четвёртый день, сидя на носу «Сороки» и шурясь на берег. — Слишком тихо.

— Тебе тишина не нравится? — Самбор не отрывал взгляда от воды: впереди тянулась песчаная коса, и надо было её обойти. — Ты же сам вчера ныл, что Олав храпит.

— Одно дело храп, другое — пустой берег. Смотри: деревня. Крыши видно, дым видно, собаку слышно. А людей?

Самбор посмотрел. Действительно: над ивняком поднимались три сизые нитки дыма, где-то надрывался пёс, у мостков лежала перевёрнутая долблёнка — свежая, смолой блестит. И ни одной живой души.

— Разбежались, — сказал он.

— Вот! — Бьярни поднял палец с видом человека, доказавшего теорему. — Разбежались. А отчего? Оттого, что мы такие красивые?

— Оттого, что мы такие вооружённые.

С кормы подошёл Гесиод, придерживая полу плаща, чтобы не мазнуть по смоле. Грек за две недели пути загорел, оброс щетиной и стал похож не на летописца, а на разорившегося торговца маслом.

— Юноши, — сказал он мягко, — вы обсуждаете великую тайну человечества. Она называется: «репутация».

— Чего?

— Репутация, Бьярни. Это когда ты ещё ничего не сделал, а о тебе уже всё известно. Вон мимо той деревни сто лет подряд по реке ходили корабли с драконьими головами. И каждый

раз оставляли после себя... — Гесиод искал слово, — ...педагогическое впечатление. Теперь достаточно паруса на горизонте, и вся деревня уже в лесу. С козами.

— Так мы ж мирные, — обиделся Бьярни. — Мы ж только мимо.

— Дорогой мой, — вздохнул грек, — ты когда-нибудь пробовал объяснить это людям, у которых дед сгорел вместе с амбаром?

Левава, сидевшая у мачты и перебиравшая стрелы, фыркнула:

— Бьярни, у тебя шрам через всю рожу и топор в полтора локтя. Ты бы сам от себя убежал.

— Я красивый!

— Ты страшный.

— Я красивый и страшный. Это редкое сочетание, между прочим, за это в Хедебю платят. Гесиод достал восковую табличку и что-то записал.

— Ты чего пишешь? — насторожился Бьярни.

— «Берега пусты. Народ рассеян по лесам. Причину видел лично: она стоит на носу и называет себя красивой».

Команда заржала так, что с ивняка снялась стая уток.

Останавливались каждый вечер. Харальд Сивобородый в этом деле был неумолим, как зубная боль: костры, каша, а потом — час на тренировки на оружие, и общие манёвры на слаживание. Хоть ты падай.

— Гребли весь день! — стонал молодой Асгейр, у которого ладони уже были в мозолях поверх мозолей.

— Вот и хорошо, — говорил Харальд, прохаживаясь между парами. — В бою ты тоже будешь уставший. Врагу это неинтересно. Щит выше. Выше, я сказал, ты не невесту обнимаешь.

Самбор дрался с копьем против Гуннара Долговязого, лучшего копейщика из дружины Трувора. Гуннар был на голову выше и на десять лет опытнее, и первые вечера просто выбивал у Самбора древко из рук со скучающим видом. На шестой вечер Самбор поймал ритм — ушёл в сторону, пропустил удар мимо и ткнул тупым концом Гуннару под рёбра.

Гуннар сел на песок и посмотрел на него почти нежно.

— Вот теперь, — сказал он, отдышавшись, — ты не мясо. Ты полумясо.

— Спасибо.

— Не за что. Через год будешь просто «полу».

Левава стреляла отдельно. Ей поставили щит в шестидесяти шагах, и она втыкала стрелы кучно, как швея иглы. Норманны сперва посмеивались — «баба с луком», — потом перестали. Когда на пятый день Торкель Рыжий предложил на спор сбить шапку с шеста, Левава сбила шест.

— Я в шапку целила, — сказала она честно. — Промазала.

Торкель посмотрел на расщеплённый шест и молча отдал ей серебряное колечко.

На восьмой день река сделала широкую петлю, и справа поднялся холм — крутой, зелёный, с плешью утоптанной земли на макушке. На плешу стоял тын, за тыном — крыши, а над крышами торчали чёрные брёвна с грубо вырубленными лицами.

— Тумский холм, — сказал кто-то из русичей Харальда. — Плоцк.

Флотилия подошла к берегу и стала. Люди на кораблях примолкли — не от страха, а от того особого любопытства, с каким смотрят на чужую святыню.

Идолы были в четыре человеческих роста. Верхний, самый большой, имел четыре лица — на все стороны света, — и в каждой руке по чему-то: рог, меч, кольцо. Дерево посерело

от дождей, но губы и глаза кто-то заботливо подновлял алой краской, и от этого казалось, что боги только что поели.

— Красиво, — сказал Гесиод.

— Ты ж христианин, — удивился Бьярни.

— Я летописец. Летописец сначала пишет, потом верует. Иначе получается проповедь, а не история.

Самбор смотрел на четырёхликого и чувствовал, как по спине бежит холодок. Не страх. Что-то другое — будто на тебя действительно посмотрели.

— Наш Свентовит? — тихо спросила Лепава.

— Похож. Только у нас поменьше и без краски.

— У нас и людей поменьше.

С холма спускались.

Их было семеро. Впереди — старик в белом, длинном, до земли, с посохом, увенчанным конским черепом. Борода лежала на груди, как снег на завалинке. За ним — шестеро помоложе, тоже в белом, но у двоих под полами предательски виднелись сапоги, а сапоги были не жреческие — воинские.

Трувор и Харальд вышли навстречу. Самбор шёл третьим — Харальд кивнул ему: «пойдешь, будешь переводить, ты по-славянски чище всех».

Остановились в десяти шагах друг от друга.

— Мир вам, — сказал Трувор.

— Мир там, где вас нет, — ответил старик спокойно, без злобы, как сообщают о погоде.

Харальд крикнул.

— Начало доброе, — пробормотал он в бороду. — Самбор, скажи ему, что мы пришли не воевать.

Самбор перевёл. Старик выслушал, помолчал.

— Вижу пять кораблей, — сказал он. — На кораблях щиты. Под щитами люди, у людей топоры. Ты говоришь — не воевать. А если бы вы пришли воевать, что бы вы делали иначе, гость?

Трувор усмехнулся:

— Причалили бы ночью, отче.

— Вот, — старик поднял палец. — Единственное честное слово за всё утро. Спасибо и на том.

— Мы хотим купить, — сказал Трувор. — Зерно. Скот. Заплатим серебром, добрым, арабским, весом.

— Не продаём.

— Мы много берём. Дадим цену вдвое.

— Не продаём вдвое.

Харальд начал багроветь. Самбор осторожно пожал ему руку.

— Отче, — сказал Трувор, стараясь держать голос ровным, — я княжич изборский. Я не разбойник. Я иду мимо, я плачу за хлеб. Отчего вам не взять серебро?

Старик оперся на посох, и конский череп смотрел на них пустыми глазницами.

— Оттого, княжич, что серебро я потрачу, а вы вернётесь. — Он произнёс это очень просто. — Кто продал раз, тому продадут второй. А кто торгует с волком, у того двор становится волчьей тропой. Я тут не зерном ведаю, я тут ведаю тем, чтобы через сто лет на этом холме стояли те же боги и те же люди. Твоё серебро сто лет не проживёт. Оно и десяти не проживёт — ты его сам через год пропьёшь.

— Я не пью, — сказал Трувор.

— Тем хуже. Значит, на оружие потратишь.

Гесиод сзади издал странный звук — не то кашель, не то смешок — и полез за табличкой.

Харальд не выдержал.

— Слушай, старик, — сказал он по-своему, и Самбор перевёл, смягчив примерно вдвое. — Триста человек. У меня триста человек, и они хотят есть. Я прошу по-хорошему. Я плачу. Я не хочу брать сам.

Старик впервые посмотрел на него прямо. Глаза у него были светлые и очень трезвые.

— Возьми сам, — сказал он. — Что тебе мешает? Нас семеро, за тыном — бабы да ребятня, мужики в лесу. Иди, седобородый. Возьми зерно, возьми девок, сожги тын. А потом сядь на корабль и плыви дальше — далеко ли ты плывёшь?

— В Миклагард, — буркнул Харальд.

— Далеко. — Старик покивал. — Очень далеко. Через чужую воду, через чужие пороги, через чужие берега. Дорога длинная, дорога тонкая. И вся она — из того, что тебя пропустят. Одни пропустят из страха, другие за деньги, третьи по слову. А боги наши, гость, не за нас. Они за холм. Они здесь сидели, когда тут ещё людей не было, и будут сидеть, когда нас не будет. И если ты этот холм тронешь — они тебя не молнией убьют, нет. — Он улыбнулся, и от этой улыбки Самбору стало по-настоящему нехорошо. — Они просто отвернутся. И у тебя на волоке пойдёт дождь. И на Днестре встанет туман. И кормщик перепутает протоку. И всё это будет очень обыкновенно, гость. Так обыкновенно, что ты и не поймёшь, за что.

Стало тихо. Слышно было, как на «Волчице» кто-то тюкает молотком, и как этот кто-то перестал тюкать.

Трувор медленно снял с шеи серебряную гривну и положил на траву перед собой.

— Это не за зерно, — сказал он. — Это твоим богам. За то, что не отвернулись сегодня.

Старик посмотрел на гривну, потом на Трувора. Что-то в лице у него дрогнуло.

— Заберёшь на обратном пути, — сказал он. — Если пойдёшь мимо, я отдам.

— А если не пойду?

— Тогда это будет хорошая память о разумном юноше.

Он повернулся и пошёл вверх по холму. Шестеро в белом двинулись за ним, и один — тот, что в сапогах с подковками, — на ходу оглянулся, и Самбор увидел в его глазах не благочестие, а холодную оценку: сколько щитов, сколько вёсел, сколько дней до Сандомира.

Отчаливали молча. Уже на воде Бьярни сплюнул за борт:

— Красиво говорил, дед. Но жрать-то охота.

— Он и не собирался нас накормить, — сказал Самбор. — Он собирался нас проводить. И проводил.

Гесиод, скребя стилем по воску, заметил:

— Знаете, что самое обидное? Он прав. Всё, что он сказал, — правда. И я даже записал, что он прав. — Грек поднял глаза. — Но кашу-то из правды не сварить.

Вечером собрались на берегу — Харальд, Трувор, кормщики. Сели у костра, и Харальд начал с главного:

— Хлеба на восемь дней. Солонины на пять, если жрать через день. Дальше — ремни варить.

— Ремни невкусные, — сообщил Бьярни. — Проверено.

— Ты ел ремни?

— Я ел сапог. В Ютландии. Долгая история, там была неудачная зимовка и очень удачный спор.

Трувор потёр лоб.

— Купить не дают. Значит?

— Значит, возьмём, — сказал Харальд.

— Дед сказал...

— Дед сказал — не трогать холм. Мы холм не тронули. Про коров он ничего не говорил. — Харальд поворошил угли. — Слушай меня, княжич. Я на воде сорок лет. Голодная команда — это не команда, это триста человек, которые сначала перестанут грести, потом начнут воровать друг у друга, а потом кто-нибудь ночью скажет умное слово про то, что ярл дурак. И тогда ты будешь очень сожалеть, что не украл корову.

— Я не сожалею о корове, — сказал Трувор. — Я сожалею, что придётся.

— Вот это хорошее чувство, — одобрил Харальд. — Держи его при себе, оно тебе пригодится лет через двадцать. А пока — берём.

— Условия, — вмешался Самбор.

Все посмотрели на него.

— Ты кормщик, а не ярл, — заметил кто-то.

— Я кормщик, и я через две недели поведу этих людей по чужой реке, где нам понадобятся проводники, — спокойно сказал Самбор. — Если мы оставим за собой сожжённые дворы, слух пойдёт вперёд нас быстрее вёсел. Берём — берём тихо. Не жечь. Не убивать. Не трогать людей. Скот — и уходим.

Харальд долго смотрел на него из-под бровей.

— Весняны сын, — сказал он наконец. — Всё-таки трактирщик в тебе сидит. Считает.

— Трактирщик знает, что гость, которого не ограбили, вернётся с деньгами. А которого ограбили — с топором.

— Ладно. Тихо так тихо.

Взяли на следующую ночь, вёрст за двадцать ниже Плоцка. Выселок в излучине: пять дворов, выгон, стадо голов на тридцать — коровы да овцы, к вечеру пригнанные и запертые в жердяной загон.

Пошли двадцать человек. Самбор, Бьярни, Гуннар и семнадцать самых опытных и скрытных. Лепава увязалась — «а вдруг собаки», — и оказалась права: собак было две. Она сняла обеих одна за другой, без звука. Но стрелы не забыла вырезать.

— Жалко псов, — шепнула она потом.

— Жалко, — согласился Самбор.

— Коров жальче будет хозяину.

— Знаю.

Загон разобрали руками, не рубя. Коров выводили по одной, обмотав рога тряпьем, овец просто брали в охапку и несли, и овцы орали в этих охапках, как грешники, но негромко — Бьярни зажимал им морды локтем и приговаривал: «Тише, тише, дура, ты в Миклагард плывёшь, тебе завидовать будут».

В одном дворе распахнулась дверь. Мужик вышел с рогатиной, увидел двадцать теней в кольчугах, замер.

Самбор поднял пустые руки.

— Уйди в дом, — сказал он по-славянски, тихо и внятно. — Мы берём скот. Мы никого не тронем. Стоишь — жив. Кричишь — мёртв, но тогда я не ручаюсь за тех, кто позади меня, что они тебя ещё не запытают.

Мужик стоял. Рогатина дрожала.

— Совести у вас нет, — сказал он.

— Нет, — согласился Самбор. — Совесть на четвёртой корове кончилась. Иди в дом, хозяин.

Мужик ушёл в дом. Дверь закрылась. Он даже не хлопнул ею.

Почему-то от этого было хуже всего.

Грузили до рассвета. Коровы категорически не желали идти по сходням и в итоге их повязали, и перенесли на корабли.

К утру на пяти кораблях лежали двадцать две овцы и десять коров. Корабли пахли теперь не смолой и морем, а деревней.

— Мы что, — уныло спросил Асгейр, глядя на палубу, — теперь пастухи?

— Мы теперь сытые пастухи, — поправил Бьярни. — Это высшая форма викинга. Об этом даже саг не сложат — от зависти.

Самбор стоял у руля и смотрел, как за кормой уплывает излучина с пятью дворами.

— Ты чего кислый? — спросила Лепава, подходя.

— Думаю про мужика с рогатиной.

— Он живой.

— Он живой и без коров. У него дети.

Лепава помолчала.

— Знаешь, — сказала она наконец, — ты только не становись таким, чтобы тебе было всё равно. И таким, чтобы ты из-за коровы утопился, тоже не становись. Держись где-то посередине. Там неудобно, зато оттуда видно.

Самбор посмотрел на неё.

— Ты когда стала такая умная?

— Я всегда была. Ты просто раньше на другое смотрел.

Через три дня прошли Черск — городище на высоком берегу, тын, вышка, на вышке — фигурка с рогом. Рог протрубил, когда корабли были ещё в версте. К тому времени как флотилия поравнялась с городищем, на стене стояло полсотни мужиков с луками и очень выразительными лицами.

— Останавливаться будем? — спросил Самбор.

Харальд посмотрел на стену, на луки, на лица.

— Нет, — сказал он. — У нас коровы. Мы сытые. Сытый человек — вежливый человек.

Прошли мимо. Со стены им ничего не крикнули, и они ничего не крикнули со стены. Это была самая приятная встреча за весь поход.

А ещё через седмицу берега изменились. Стало больше распашки, больше дыма, появились мостки, плоты, длинные поля, разбитые межами. И — впервые за весь путь — люди не разбегались. Смотрели, отходили подальше, но не бросали работу.

— Висляне, — сказал Трувор, стоя на носу шнеки. — Тут другой народ пошёл.

Вечером на стоянке об этом заговорили у костра. Начал, как всегда, Бьярни:

— Вот объясните мне, тёмному. Отчего мазовшанин от нас в лес бежит, а этот стоит и смотрит?

— Оттого, — сказал Гесиод, устраиваясь поудобнее, — что у мазовшанина за спиной лес, а у вислянина — князь.

— И чего?

— А того, Бьярни, что человек прячется, когда ему некому пожаловаться. Мазовшанин знает: сожгут двор — сам и отстроит. А вислянин знает: сожгут двор — придёт дружина и кого-нибудь повесит. Может, не тех, но повесит обязательно. Это, друг мой, называется государство. Крайне неприятная штука, но с ней спокойнее.

Трувор задумчиво жевал травинку.

— Много их?

Гесиод пожал плечами:

— Я грек, а не соглядатай. Но говорят, союз большой. Краков, Сандомир, ещё города. Соль у них, а соль — это деньги. И, что важнее, у них сейчас есть очень хороший повод не ссориться ни с кем на севере.

— Какой?

— Юг. — Гесиод поворошил угли прутиком и провёл им черту по земле. — Вот тут — они. А вот тут, за горами, — Великая Моравия. И Моравия сейчас, судари мои, растёт, как тесто в тёплой избе. У них князь, у них попы греческие, у них конница. И они очень любят объяснять соседям, что соседям было бы удобнее жить под моравским крылом.

— Так они ж христиане, — удивился кто-то. — Христиане ж вроде смирные.

Гесиод посмотрел на него с искренним восхищением.

— Юноша, — сказал он проникновенно, — вы прелесть. Не меняйтесь.

Харальд хмыкнул в бороду:

— Значит, висляне сидят между молотом и наковальней.

— Именно. И потому — слушайте внимательно, это важно — они не станут с нами воевать, если мы не дадим повода. Им сейчас каждый воин на счету, и он нужен на южной границе, а не на речном берегу с нами. Но и пропустить просто так они нас не могут.

— Почему? — спросил Самбор.

— Потому что если по твоей реке проходит триста вооружённых чужаков и ты им ничего не сделал, — Гесиод развёл руками, — то завтра об этом узнают в Моравии. И решат, что ты слаб. Понимаете? Им нужно не убить нас. Им нужно, чтобы все видели: чужаки прошли на наших условиях. С поклоном, с платой, с проводником. Это не жадность, это... — грек поискал слово, — это витрина.

— Чего?

— Показ товара лицом. Товар — их сила.

Трувор медленно кивнул.

— То есть с ними можно договориться.

— С ними нужно договориться, — поправил Гесиод. — И дорого. Но дешевле, чем воевать.

Харальд поскрёб бороду.

— Грек, — сказал он с уважением, — а ты, часом, не воевода?

— Я хуже, — вздохнул Гесиод. — Я бывший чиновник.

Устье Сана

Они увидели его на закате.

Висла тут разливалась широко, и справа в неё вливалась другая река — потемнее, поспокойнее. На стрелке, на насыпанном валу, стоял острог: дубовый тын, вышка, ворота, и над воротами — щит с чем-то намалёванным, издали не разобрать. Под берегом, у мостков, покачивались две ладьи. Не боевые красавицы — приземистые, широкие, с высокими бортами. Такие не догоняют. Такие перегораживают.

На вышке ударили в било. Раз, другой, третий.

Флотилия убрала паруса и легла в дрейф на середине.

— Сколько их там? — прищурился Харальд.

— Мало, — сказал Гуннар. — Полсотни, наверное.

— Мы их снесём за час, — сказал кто-то с азартом.

— Снесём, — согласился Харальд. — А потом?

— А потом, — сказал Гесиод, глядя вверх по Висле, где на дальнем холме в вечернем свете темнела ещё одна стена, побольше и повыше, — а потом с нами будет разговаривать вон то. Сандомир. И разговаривать он будет уже не словами.

Ворота острога открылись. Из них вышли трое и пошли к мосткам, не торопясь. Впереди — мужчина в добром чешуйчатом доспехе, с непокрытой головой; ветер трепал ему светлые волосы. Он остановился у самой воды, сложил руки на груди и стал ждать. Никакого оружия в руках. Никакой суеты.

— Ждёт, — сказал Трувор.

— Ждёт, — подтвердил Харальд. — Он знает, что мы пришли не грабить. Мы бы уже стреляли.

— Откуда знает?

— Оттуда, что он тут двадцать лет сидит и всякое видел. — Старый ярл повернулся. — Самбор!

— Да?

— Ты у нас говорун и трактирщик. Пойдешь третьим. Трувор — княжич, я — седой ярл, ты — язык. Гесиод, ты тоже. Будешь делать умное лицо.

— Это моё естественное состояние, — заметил грек.

— Оружие берём?

Харальд посмотрел на человека у мостков, на две ладьи, на вышку, на далёкую стену Сандомира на холме.

— Ножи. Только ножи. — Он ухмыльнулся в бороду. — И серебро. Немного серебра. Здесь, я чувствую, начинается та часть похода, где вёсла бесполезны.

Самбор перекинул через плечо пояс, поймал взгляд Лепавы. Она стояла у мачты, положив руку на лук — не натягивая, просто положив.

— Если что, — сказала она, — с вышки я сниму.

— Если что, — ответил Самбор, — ты никого не снимешь, а мы будем очень вежливо улыбаться и очень быстро отступать.

— Скучно с тобой.

— Зато долго.

Лодку спустили на воду. Четверо сели, вёсла плеснули, и в наступающих сумерках маленькая лодочка пошла к берегу, где ждал светловолосый человек в чешуе.

Гесиод, сидя на корме, достал табличку — и вдруг убрал обратно.

— Не буду записывать, — сказал он в ответ на вопросительный взгляд Самбора. — Плохая примета. Записывать надо то, что кончилось.

Лодка ткнулась носом в песок.

Светловолосый разжал руки, шагнул вперёд и сказал по-славянски — ясно, спокойно, почти дружелюбно:

— Добрый вечер, гости. Меня зовут Радим, я тут воевода. Дальше вы не поедете.

Он выдержал паузу и добавил:

— Пока не поговорим.

Продолжение следует.

«Друзья не платят, а римляне копают»

Костёр Радимовы люди развели заранее — не потому, что мёрзли, а потому, что при огне видно лица. Это была вежливость с двойным дном, и Харальд оценил её сразу: сел так, чтобы своё лицо оставить в тени, а Радимово держать в свету.

Расселись на брёвнах. За спиной у воеводы встали двое — руки на виду, ладонями наружу, оружие в ножнах. Всё чинно.

— Ну, — сказал Радим. — Кто у вас говорит?

— Я, — сказал Трувор. — Трувор, сын Гостомысла, княжич изборский. Это Харальд, ярл, у него сорок лет моря за плечами. Это Самбор, кормщик. А это Гесиод, ромей, человек учёный.

— Учёный зачем? — спросил Радим без насмешки, с любопытством.

— Для памяти, — мягко сказал Гесиод. — Я записываю. Люди врут по-разному каждый год, а воск лежит и помнит одно и то же.

— Опасный ты человек, — уважительно сказал воевода. — У нас за память тиун отвечает. Он считает до десяти, потому что дальше надо сапоги снимать, а он ленив.

— Ничего, — сказал Харальд. — Главное, чтоб до десяти считал в нашу сторону.

Радим коротко улыбнулся — одними губами, не глазами. Улыбка эта Самбору не понравилась. Так улыбается человек, который уже знает следующее своё слово и знает, что оно тяжёлое.

— Тогда к делу, гости. Земля от устья и до самых гор — князя Вышеслава, что сидит в Сандомире. Река тоже его: и Висла до устья Сана, и Сан весь, до верховьев, где воды в ладонь и та по камням.

— Река ничья, — заметил Харальд.

— Река ничья, покуда по берегам никто не живёт, — спокойно ответил Радим. — А как поселились — так и берега чьи-то, и броды чьи-то, и мели, и волоки, и мельницы. Ты, седой, поживи с моё на берегу: воду не удержишь, а вот кто по ней ходит — очень даже.

— Складно, — согласился Харальд. — Дальше говори.

— Дальше просто. Князь Вышеслав позволяет вам подняться Саном. С проводником, с торгом, с ночлегом на указанных местах, и никто вас не тронет. А за то — двадцать гривен серебра с корабля.

Костёр щёлкнул сучком. Больше ничего не прозвучало.

— Сколько? — переспросил Трувор очень ровно.

— Двадцать. С каждого. Их у вас пять. Значит, сотня гривен. — Радим смотрел прямо, не мигая. — Иначе дорога закрыта. Развернётесь и пойдёте Вислой вниз. Проводим с честью, даже хлеба продадим в дорогу — я не зверь.

Гесиод беззвучно пошевелил губами, считая, и лицо у него стало нежное и печальное, как у человека, вспомнившего юность.

— Сто гривен, — сказал он в пространство. — Судари мои, это четыре добрых коня, 4 кольчуги кольчуги и село с людьми. Или годовой оклад сотни бойцов. За то, чтобы плыть по воде. Против течения. Своими руками.

— Вода в соляных краях дорогая, — не смутился Радим.

Харальд издал горлом звук, какой издаёт медведь, наступивший на пчелу. Самбор осторожно тронул его за колено. Ярл дёрнул бородой, но смолчал.

Трувор молчал долго. Смотрел в огонь. Самбор видел, как у княжича ходят желваки — и как он их укладывает обратно, один за другим, будто вещи в сундук перед дальней дорогой.

Потом Трувор поднял голову.

— Радим. Ты человек прямой, и я тебе прямо отвечу. Только сперва спрошу одно.

— Спрашивай.

— Вы, висляне, хотите, чтобы я с дружиной прошёл через ваши земли как друг — или как враг?

Воевода чуть подался вперёд. Он ждал торга. Он ждал «десять», «пятнадцать», «а если пятнадцать и корову впридачу». Вопросы он не ждал.

— Желательно, — сказал он медленно, — как друг.

— Хорошо, — сказал Трувор. — Тогда я тебя понял.

Он встал. Не резко — спокойно, отряхнул полу плаща.

— С друзей, которые идут мимо, денег не берут.

Тишина стала такая, что слышно было, как за версту, на «Волчице», кто-то уронил ведро и как этот кто-то немедленно об этом пожалел.

— Друг, — раздельно продолжал Трувор, — платит за хлеб, за скот, за проводника, за постой. Это я заплачу честно и торговаться не буду, потому что за труд платить надо. А за то, чтобы просто пройти, платит враг. И зовётся это не пошлина, а откуп. — Он усмехнулся, и в усмешке вдруг проглянул Ольгостов выученик. — Так ты уж выбери, воевода. Либо я тебе друг — и тогда убери счёт. Либо я тебе враг — и тогда убери слово «желательно».

Харальд Сивобородый очень медленно, очень довольно откинулся назад и сложил руки на животе. Лицо у него было, как у человека, которому поднесли пива, а он и не просил.

Гесиод беззвучно сказал: «О-о».

Радим встал тоже. Улыбка с лица не ушла, но стала сухая, тонкая.

— Ловко, княжич, — сказал он. — Я тебе слово дал, ты его в кулак взял. Молодец. Только вот беда: слова лёгкие. А берега у Сана тяжёлые.

— Это угроза?

— Это местность, — сказал Радим. — Сан узкий. Местами в три перестрела. По берегам лес до самой воды, и в лесу мои люди, а не твои. Мели такие, что без проводника ты трое суток просидишь на одной и той же и будешь воду вместо каши хлебать. А ещё, — он посмотрел на Трувора почти ласково, — у нас крепкая дружина конных княжьих и без счета мужиков, что эту землю пашут и очень не любят чужих с топорами. Поднять их — пару дней. Я уже начал поднимать.

— Начал ещё до разговора, — сказал Самбор.

Радим впервые посмотрел на него внимательно.

— Умный, — сказал он. — Конечно, начал. Я же не дурак, чтоб начинать после.

— Тогда и я скажу, раз мы тут все не дураки. — Самбор поднялся. — Воевода, у тебя за спиной Моравия. У тебя каждый конный на счету, и ты его не хочешь класть на речном песке за чужие двадцать гривен, потому что он тебе через месяц под Краковом понадобится. Ты не воевать пришёл. Ты пришёл показать, что мы прошли по-твоему. Вам не сотня гривен нужна. Вам нужно, чтобы соседи видели что русы вам платят.

Гесиод скромно опустил глаза и стал изучать собственные сандалии с видом человека, который тут вообще ни при чём.

Радим постоял. Потом коротко хохотнул.

— А кто у вас грек — вон тот или вот этот? — спросил он, кивнув сперва на Гесиода, потом на Самбора.

— Оба, — сказал Харальд. — Один по рождению, другой по вредности.

— Ну-ну. — Радим поправил пояс. — Тогда и вы слушайте. Может, ты, кормщик, верно рассудил. Может, и не станет князь ради вас конницу гонять. А может, и станет — потому что если через мою землю пройдут даром триста человек с топорами, то на будущий год пойдут шестьсот. И тогда я не воевода, а сторож у пустого тына. Ты цену войне посчитал, парень. А цену тому, чтобы её не было, — не считал.

Он повернулся к Трувору.

— Последнее слово, княжич. Сто гривен.

— Нет.

— Пятьдесят.

— Нет.

— Двадцать за всех. По четыре с корабля, и не за проход, а за проводника — чтоб ты лицо сохранил, а я службу.

Самбор внутренне ахнул: это была честная цена, и это был выход, и Радим — Самбор понял это очень ясно — предлагал его искренне.

Трувор помолчал.

— Проводника возьму, — сказал он. — И заплачу, сколько скажешь, хоть три гривны, хоть пять. Но в счёт «за проход» — ни резаны. Пиши в свою грамоту как хочешь: «за проводника», «за корм», «в дар вислянскому князю от изборского княжича по дружбе». Только не «за проход».

Радим смотрел на него долго.

— Гордый, — сказал он наконец. — Ох, гордый. Я таких видал, княжич. Они очень красиво умирают, и про них потом хорошо поют.

— Знаю, — сказал Трувор. — Я эти песни слушал всю зиму в Изборске. Мне надоело.

— Значит, договорились не договориться.

— Значит, так.

И тут Радим сделал то, чего никто не ждал: протянул руку.

Трувор её пожал.

— За честный разговор, — сказал воевода. — Редкость по нынешним временам.

— За честный разговор.

— Проводника не дам.

— Я и не просил.

— Ночевать вот тут можно, на косе. До рассвета. Мои вас не тронут — слово даю.

— А после рассвета?

Радим уже шёл к воротам, но обернулся.

— А после рассвета, гости, будет как Бог даст. Или как ваши боги дадут. У вас их много — авось кто-нибудь и не спит.

Ворота острога закрылись без стука. Это почему-то было хуже, чем если бы хлопнули.

Гесиод медленно достал табличку.

— Вот теперь запишу, — сказал он. — Теперь можно. Это кончилось.

Утром флотилия снялась с косы и повернула носами в правый рукав.

Сан принял их молча. Река была уже Вислы — тёмная, торопливая, с весенним нором. Берега подступили ближе: ольха, ива, а выше по склону — тёмный ельник, начинавшийся прямо от воды, и было в нём ровно столько солнца, сколько ели соглашались пропустить, то есть нисколько.

На вышке острога стоял человек и смотрел вслед. Не трубил. Просто смотрел.

— Не любит он нас, — заметил Бьярни, налегая на весло.

— Он нас считает, — сказал Самбор.

— И пусть считает. Мы люди счётные, нас много и мы красивые.

— Ты один за троих страшный, — не поднимая головы от стрел, сказала Лепавя. — Он тебя, поди, за полтора корабля записал.

Гребли тяжело, в две смены, с короткими передышками. К полудню от кораблей пахло потом, мокрой шерстью и скотом; овцы орали, коровы косили глазом на воду и явно жалели о выселке в излучине.

— Слушай, — сказала Лепавя через плечо. — А красиво он тебя вчера уел. Про цену того, чтобы войны не было.

— Уел, — согласился Самбор.

— И ты промолчал.

— А что было отвечать? Он прав.

— Он прав, а мы всё равно не заплатили. Вот это, мой Сольвейг, и называется мужчины: сперва признают, что человек прав, потом делают по-своему, а после удивляются, отчего это из леса стрелы летят.

— Ты злая.

— Я голодная. Это почти одно и то же, только громче.

На ночь встали на двадцать пятой версте от поворота на Сан — так вышло само собой, лучшего места на реке не было: широкая береговая терраса, песок, за ним сухой луг, а дальше, шагах в двухстах, стеной стоял лес. С одного боку место прикрывал старый овраг — глубокий, глинистый, с осыпями, по дну ручей; с другого — река.

Вытащили корабли носами на песок. Развели костры. Зарезали овцу — общее ликование. Пахло варевом, дымом и мокрой травой, и мир казался устроенным неплохо.

Гесиод сидел у среднего костра, поджав ноги, и смотрел на всё это с выражением человека, которого что-то тихо мучает изнутри.

— Дядя Гесиод, — сказал Самбор, садясь рядом. — У тебя лицо, как у Гутторма, когда он видит недолитую кружку.

— У меня, юноша, лицо человека, который третью неделю смотрит, как триста вооружённых мужчин ложатся спать в чистом поле, и вспоминает при этом покойного Гая Юлия.

— Кого?

— Цезаря. — Грек поворошил угли. — Расскажу — не побьёте?

— Побьём, — честно сказал Бьярни, подсаживаясь с миской. — Но потом. Сперва слушаем, у нас так заведено.

Гесиод усмехнулся и заговорил, и голос у него сделался тот самый, лекторский, за который его слушали даже те, кто первый раз ни слова не понимал.

— Было такое войско — римские легионы. Не самое храброе на свете, друзья мои. Галлы были храбрее. Германцы злее и крупнее. Парфяне стреляли лучше. А римляне взяли весь известный мир. Знаете чем?

— Числом, — сказал кто-то.

— Железом, — сказал другой.

— Лопатой, — сказал Гесиод.

Настала пауза — та неловкая, какая бывает, когда учёный человек сказал глупость, а перебивать невежливо.

— Каждый римский солдат, — продолжал грек невозмутимо, — кроме щита, панциря, меча, двух дротиков, котелка и хлеба на полмесяца тащил на себе ещё две вещи. Кол — заострённое бревно в рост человека. И шанцевый снаряд: кирку либо лопату. Всякий. Каждый. Без исключений. А центурион смотрел, чтоб не выбросили по дороге, — потому что выбрасывали, конечно, и за это били палкой по спине.

— Зачем это? — не выдержал Торкель Крикливый.

— А затем, что где бы легион ни встал на ночь — хоть в дне пути от Рима, хоть в глухой Галлии, хоть в виду врага, хоть за триста вёрст от всякого врага, — он не ложился спать просто так. Он строил лагерь. Каждый вечер. Заново.

Гесиод взял прут и стал чертить на песке.

— Ров — вот так, глубиной в человека, шириной в человека. Вынутую землю кидают внутрь, получается вал. На валу — те самые принесённые колья, связанные меж собой. Четверо ворот. Улицы внутри всегда одни и те же — и любой солдат, разбуженный ночью в чужой стране, спросонок, в темноте, знал, куда бежать. Потому что вчера бежал туда же. И позавчера. И в прошлом году в другой земле. Понимаете? Лагерь у них был всегда один и тот же. Менялся только мир вокруг.

— Долго ж это строить, — усомнился Гуннар Долговязый.

— Два часа. Двенадцать тысяч человек — два часа. Потому что каждый знал свои десять шагов рва и копал их, не спрашивая зачем.

Грек отложил прут.

— И вот вам итог. Четыреста лет, покуда правило соблюдалось, легион почти невозможно было застать врасплох. Ночью не нападёшь — ров, вал, колья и часовые в четыре смены. Хочешь их бить — изволь строиться в поле и драться днём, лицом к лицу. А в этом деле

римляне были очень хороши. А когда правило забыли, когда решили, что копать доблестному воину унизительно... — Гесиод пожал плечами, — тогда пришли варвары. Прости, Бьярни.

— Ничего, — сказал Бьярни. — Я привык. Меня и в Хедебю так называли, и, между прочим, за это платили.

Харальд, сидевший поодаль и, как всем казалось, дремавший, сказал не открывая глаз:

— Грек.

— Да, ярл?

— Ты это сейчас к чему рассказал? Ты просто так не рассказываешь. Ты как баба: начинает про соседкину корову, а кончает тем, что тебе пора жениться.

Гесиод развёл руками.

— К тому, ярл, что вчера воевода Радим сказал нам три вещи. Первое: у него конная дружина. Второе: у него множество вооруженных мужиков из местных сел и поднимать он их начал ещё до разговора. Третье — и это самое важное — он сказал: «после рассвета будет как Бог даст».

— Ну?

— А мы, — сказал Гесиод, — легли спать на лугу. Лицом к лесу. Без рва, без вала, без кольев. Триста человек, десять коров и двадцать овец. И единственное, что стоит между нами и сотней конных, — это надежда, что они не придут.

Костёр щёлкнул.

— Так он же слово дал, — сказал кто-то неуверенно.

— Он дал слово не трогать нас на косе до рассвета, — сказал Самбор. — Косу мы прошли вчера.

Тишина сделалась другая. Плотная.

Трувор отложил недожёванный кусок.

— Ярл. Что скажешь?

Харальд открыл глаза.

— Скажу, что грек прав и что я старый дурак, — спокойно ответил он. — Сорок лет на воде. Знаешь, отчего я жив? Оттого, что всегда ставил часовых. А отчего меня трижды чуть не убили? Оттого, что одних часовых мало. Часовой врага увидит. А вал его держит, покуда часовой орёт.

Он поднялся, кряхтя.

— Сзывай кормщиков. Совет.

..Сели кругом у большого костра: Харальд, Трувор, Гуннар, Бьярни, Самбор, оба Труворовых кормщика — Милята и Ждан, — и Гесиод с табличкой. Лепавка села за плечом у Самбора, и никто не сказал ей уйти, потому что уже два раза говорили и оба раза вышло хуже.

— Считаем, — начал Харальд. — Нас триста без малого. Если сотня конных ударит на нас в чистом поле, ночью или в туман, — что будет?

— Побьём, — сказал Милята.

— Побьём, — согласился Харальд. — Человек за сорок побьём. Своих. Конный на бегущего — это не бой, это жатва. Всё решится в первые сто ударов сердца: успели в строй — победа, не успели — сомнут и погонят к воде. А сзади корабли, а на кораблях овцы, и мы будем очень красиво тонуть под их бляенье.

— А если вал? — спросил Трувор.

— А если вал, — сказал Харальд, — то конный к нам не подойдёт. Конь на частокол не пойдёт, хоть режь его. И через ров не пойдёт. Значит, слезут. А пеший вислянин против нашей стены щитов — это, братья, совсем другой разговор, и вести его буду уже я.

— Копать некогда, — сказал Гуннар. — Ров в человека — это нам до утра и ещё день.

— И не надо в человека, — вмешался Самбор.

Все обернулись.

— Смотрите. — Он взял прутик и стал чертить по песку, как Гесиод. — Место мы взяли хорошее, только сами того не поняли. С этой стороны река — тут не обойдут. С этой — овраг, глубокий, глинистый; конь туда сойдёт, а вылезет уже без всадника и с переломанными ногами. Значит, открыта у нас одна сторона — к лугу и лесу. Двести шагов, ну двести пятьдесят.

— Двести двадцать, — сказал Гесиод. — Я мерил. Шагами. Шаг у меня короткий, зато честный.

— Тем лучше. Двести двадцать шагов — это не крепость. Это одна линия. Нам не нужен римский лагерь целиком. Нам нужен один его бок.

Харальд наклонился над чертежом.

— Дальше.

— Ров неглубокий, по бедро, местами по пояс, зато широкий — шага в полтора. Землю кидаем к себе, выходит вал по пояс. А в вал — колья. Не частоколом в стену — не успеем и не удержится. Ставить наклонно, остриями наружу, на высоту конской груди. Их не надо вкапывать глубоко. Их надо вкопать так, чтобы конь их увидел.

— Чтобы конь увидел, — повторил Трувор.

— Конь не дурак, — сказал Самбор. — Конь на острое не пойдёт. Всадник может хотеть — конь не будет. Мне это Харальд объяснял, когда учил пехоту против конницы ставить. Помнишь, ярл?

— Помню, — буркнул Харальд. — Только я тогда думал, что ты спишь.

— Я спал. Но с открытыми ушами.

Бьярни поскрёб шрам.

— По одному колу на человека, — сказал он. — Триста кольев. Вон в той рощице ольха да молодой дубняк — за час нарубим всем миром. Топоров у нас, слава богам, больше, чем совести.

— И вот ещё что, — сказал Самбор. — Колья потом не бросаем.

— Как — не бросаем?

— Кладём на корабли. Каждый свой. И каждый вечер ставим заново.

Настала тишина, в которой отчётливо было слышно, как триста человек, которых тут не было, мысленно застонали.

— Каждый вечер? — упавшим голосом уточнил Милята.

— Каждый, — сказал Харальд, и голос у него сделался тот самый, каким он командовал на «Морской ведьме» в шторм. — Слыхали грека? Четыреста лет. Каждый вечер. И потому они взяли весь мир, а мы с вами сидим на песке и делим одну овцу на тридцать рыл.

— Люди взвоят, — сказал Гуннар. — Они и так по двенадцать часов гребут.

— Взвоят, — согласился Харальд. — А потом привыкнут. Человек — скотина привыкшая. Первую неделю ненавидит, вторую терпит, а на третью сам орёт на новичка, что тот кол криво воткнул. Я это в Миклагарде видел, у ромеев в тагмах. Там за криво поставленную палатку били палками — и знаете что? Все выжили.

— А кто ныть станет, — весело сказал Бьярни, — тому напомним про рассол.

— Про какой рассол? — не понял Милята.

— О-о, — с наслаждением сказал Торкель Крикливый. — Он не знает. Самбор, расскажи ему про рассол.

Самбор вздохнул с видом человека, который знает, что всё равно не отвяжётся.

— Ладно. Только коротко, нам ещё копать.

— Он никогда коротко, — сказала Лепавя. — Он один раз попробовал коротко, так у него потом три дня живот болел.

— Значит, так. Прошлой осенью пошли мы с Ингве, Гуттормовым племянником, на кабана. И был там один секач — старый, чёрный, седой в холке, с обломанным клыком. Загнал он Ингве в сарай при солеварне, влетел следом и разбил бочку с пятилетним рассолом. Стоит

в рассоле по брюхо, Ингве на крыше, я в дверях с пустым луком. И ушёл он, братья, в лес — просоленный насквозь.

— И что?

— А то, что через два дня в дубраве завёлся Просоленный Вепрь. Мужики ходили смотреть. Говорят, он теперь не портится.

— Врёшь.

— Мы его перед отъездом видели все двадцать два человека, — серьёзно сказал Бьярни. — Он к нам вышел. Постоял. Посмотрел. Вздохнул. И ушёл.

— Записал, — подтвердил Гесиод. — «Вепрь остался жив. Полагаю, это добрый знак».

— Так вот, к чему я. — Самбор поднял палец. — Тот вепрь — самое умное животное, какое я в жизни видел. И знаете, отчего он до седой холки дожил, а братья его давно у нас в бочках лежат?

— Отчего?

— Оттого, что он никогда не спал в чистом поле. — Самбор обвёл всех глазами. — Он ложился в бурелом. Всегда. Со всех сторон валежник, коряги, сухие сучья, и только с одной стороны лаз, и лаз такой, что и собака не пролезет. Мы его два часа выкуривали и не выкурили. Лежал, как князь в тереме: подойти нельзя, обойти нельзя, а сунешься — сам себе ноги переломашь. Вот вам и колья, братья. Кабан до этого своим кабаньим умом дошёл. Триста викингов, я надеюсь, тоже как-нибудь.

Гуннар крикнул.

— Ловко.

— Он ещё и не так умеет, — сказала Лепавя. — Он мне так же объяснял, зачем ему третий пояс с ножами. Тоже через кабана.

— И убедил?

— Убедил. Я ему потом четвёртый купила. Пусть носит, дурень: чем больше железа на нём, тем меньше денег на пиво.

Харальд хлопнул ладонью по колену.

— Всё. Решено. Гуннар — бери сотню и топоры, руби колья: длина в полтора роста, конец точить косо, с одной стороны. Бьярни — ров. Милята — часовые: четыре смены по восемь человек, и двое всегда на воде, в лодке, у того берега — оттуда лучше видно, что в лесу шевелится. Трувор, твои копают правый край, мои левый; кто первый — тому лишняя мера пива.

— А если врагов не будет? — спросил кто-то из темноты.

Харальд обернулся на голос.

— Тогда, сынок, ты завтра проснёшься живой, усталый и злой на старика. И будешь мне это припоминать до самого Царьграда. — Он оскалился в бороду. — Я согласен. Дёшево беру.

Работали при факелах.

Роца была шагах в трёхстах вверх по берегу — молодой ольшаник вперемешку с дубняком, как раз то, что надо: прямое, в руку толщиной, не гнилое. Сотня топоров ударила разом, и лес зазвенел так, что за версту было слышно, — и это, как заметил Гесиод, было единственное слабое место замысла.

— Нас слышно.

— Пусть слышат, — отозвался Харальд. — Пусть думают, что мы дровосеки. Висянин услышит топоры и решит: чужие лес рубят, костры палят, ужин варят. А про то, что мы кол на кол ставим, он узнает завтра. И, боги дадут, лбом.

Рубили, тащили волоком по два-три, обтёсывали концы. Стружка летела, пахло свежим деревом — сладко, до головокружения, как в Трусо на верфи у Хродгейра.

Ров рыли чем придётся: пятью настоящими лопатами, четырьмя мотыгами, взятыми на высылке вместе с коровами (Бьярни немедленно объявил, что это была не кража, а прозорли-

вость), корабельными черпаками, топорами и под конец просто руками — грунт был песчаный и брался хорошо.

Люди ныли. Ныли громко, талантливо, с выдумкой.

— Я гребец! — стонал Асгейр, выгребая песок шлемом. — Я на весле сижу! Я не крот!

— Ты теперь римлянин, — утешал Торкель.

— Я не хочу быть римлянином! Римлян всех убили!

— Их убили, когда они копать перестали! — крикнул от рва Гесиод, довольный сверх всякой меры. — Юноша, вы только что своим невежеством подтвердили мой тезис. Продолжайте, прошу вас.

Бьярни таскал колья по три зараз и приговаривал:

— Вот так, братья, и живёт человек. С утра думаешь, что ты морской волк, гроза племён и погибель монастырей, а к ночи стоишь по колено в яме с чужой мотыгой и торгуешься, кому её теперь держать. Я вам скажу: я в Ютландии зимовал, я сапог ел. Так вот копать легче. Сапог хоть жуёшь, а яма не кончается.

— А зачем ты сапог ел? — спросил Асгейр.

— Спор был. Я выиграл.

— Что выиграл?

— Второй сапог, — скорбно сказал Бьярни. — Люди тогда шутили лучше, чем считали.

Левава кольев не таскала. Она обошла всю линию, потом ушла в темноту к оврагу, пропала на полчаса и вернулась, села рядом с Самбором на бровку рва.

— Овраг хороший, — сказала она. — Только не такой хороший, как вы думаете.

— То есть?

— Шагах в ста от реки, где две берёзы, — брод через него. Сухой. Скотий, наверное: земля утоптана, глина сбита копытами, склон пологий. Конь пройдёт. Не рысью — шагом, и по одному. Но пройдёт.

Самбор встал.

— Точно?

— Я по нему туда и обратно прошла. Не веришь — сходи сам. Только сапог жалко, там глина как кисель, а ты у меня и без того ходишь, как утка на льду.

Самбор сходил. Вернулся молча, взял её за плечи и поцеловал в макушку.

— Это что было? — осведомилась Левава.

— Благодарность.

— Дёшево. Хотя за один овраг, пожалуй, справедливо. Гривны за две.

Брод перегородили отдельно: вбили десяток кольев вкрест, накидали срубленных верхушек с сучьями — тот самый вепрев бурелом, — а сверху Бьярни, войдя во вкус, уложил ещё три вязанки сухого хвороста.

— Хворост зачем? — спросил Милята.

— А чтоб горело. Полезут ночью — кинем факел. Красиво будет. Я, знаешь, всю жизнь мечтал, чтобы враг приходил ко мне при хорошем освещении. А то в темноте бьёшь-бьёшь, а после выходит, что троих своих зацепил, и все обижаются до самого Хедебю.

К третьему часу пополуночи линия стояла.

Ров — по пояс, местами по бедро, шириной в шаг с половиной. Вал — по пояс. По валу, наклонно, остриями наружу, на высоту конской груди — двести восемьдесят кольев, связанных попарно и укрепленных у комля камнями и утоптаным песком. Два прохода, узких, в одного человека, заложены рогатками, которые можно отволочь и вернуть.

Костры перенесли внутрь и разложили не посередине, а вдоль вала, снаружи от спящих: чтобы свет падал в поле, а люди лежали в тени.

Часовые встали в четыре смены. Двое в лодке у противоположного берега — чёрной тенью на чёрной воде.

Харальд обошёл линию всю, от реки до оврага. Останавливался, пробовал колья рукой: качнёт, надавит, кивнёт. Один выдернул и молча воткнул обратно, глубже. Хозяин кола, парень из Труворовой дружины, покраснел до ушей и до конца похода этого не забыл.

Дойдя до конца, ярл встал у крайнего кола, у самой воды, и постоял, глядя в темноту, где за лугом лежал невидимый лес.

Потом сказал негромко — но так, что услышали ближние тридцать человек, а к утру знали все триста:

— Вот теперь можно спать.

А в лесу не спали.

В трёх верстах на восход, на старой вырубке у сожжённой углежогной ямы, стояли кони. Сотня — княжых, сандомирских, кормлёных, в доброй сбруе, и люди при них были не мужики, а дружина: у каждого шело, у каждого щит с вислянским знаком.

И вокруг них, по вырубке, по опушке, под елями, вповалку сидели, лежали, дожёвывали и вполголоса переругивались шестьсот человек, поднятых из окрестных весей за два дня. Рога-тины. Топоры. Луки-однодеревки. Косы, насаженные прямо, по-боевому. У одного — Самбор потом сам видел — дедов меч, зазубренный, как пила, и явно старше деда.

Радим стоял у костра и слушал вернувшегося дозорного.

— Встали в излучине, — говорил тот, тяжело дыша. — На террасе, где Гнилой овраг в реку падает. Костры жгут. Скотину резали, мясо варили — по ветру пахнет.

— Часовые?

— Есть. Немного.

— Ещё что?

Дозорный помялся.

— Рубят.

— Что рубят?

— Лес рубят, воевода. В той рощице, где мы прошлой осенью ольху брали. Часа три уже стучат.

Радим помолчал.

— Дрова, — сказал он наконец. — Триста человек, ночь холодная. Дрова.

Сотник конных, седоусый Держимир, сплюнул в костёр.

— Три часа на дрова? Им бы за три часа полверсты леса свести.

— Значит, шалаши ставят. Или сходни чинят — они носами на песок влезли. — Радим потёр лоб. — Держимир. Как посереет, выходишь на конях опушкой и в галоп по лугу. Мужики за тобой, двумя толпами. Твоё дело простое: не рубиться. Твоё дело — влететь в лагерь, сбить их со сна и погнать к воде. Погонишь — мужики докончат. Их триста, они полдня гребли и полночи работали. Они спят как убитые.

— А если не спят?

Радим посмотрел в темноту, туда, откуда еле-еле, на самом краю слуха, доносился ровный, упрямый, нескончаемый стук топоров.

— Тогда, — сказал он, — тогда я плохо считал.

Он постоял ещё.

— Держимир.

— Ну?

— Овраг проверь. Там брод скотий, у двух берёз. Если они его не знают — пошли два десятка конных и пол сотни мужиков, обойдётся и ударите ещё сбоку.

— А если знают?

Радим усмехнулся.

— Откуда им знать? Они тут первый вечер.

«Час волка, или Почему конь умнее всадника»

1. Перед серым

Самбора разбудил не крик и не рог. Его разбудило то, что храп рядом прекратился.

Он открыл глаза. Небо было ещё чёрным, но уже не тем непрозрачным чёрным, что в полночь, а размытым, стиранным — небо, из которого вот-вот отождмут ночь. Костры вдоль вала прогорели до угольев и светили низко, красно, по-домашнему.

Рядом сидела Лепава. Просто сидела, обняв колени, с луком на коленях, и смотрела в поле.

— Ты чего? — шепнул Самбор.

— Птицы, — сказала она.

— Что птицы?

— Их не слышно.

Самбор полежал ещё немного, слушая. Она была права: в этот час, серый и мокрый, лес обыкновенно уже начинает пробовать голос — одна птаха, потом другая, потом всё вразнобой. А сейчас была тишина, и в тишине, далеко, глухо, будто через одеяло, — что-то большое и мягкое: топоток, шорох, звяк.

Он встал.

Харальд стоял у вала уже одетый, в кольчуге, подпоясанный, и грыз сухарь. Как он умел просыпаться раньше всех и при этом никогда не выглядеть заспанным — оставалось загадкой всего похода.

— Слышишь? — спросил Самбор.

— С полчаса как слышу, — спокойно сказал ярл. — Кони. Много. Идут шагом по опушке, придерживают. — Он откусил сухарь. — Хорошие люди. Вежливые. Могли бы прийти в полночь, когда мы в яме сидели, а они дали нам достроить и поспать два часа.

— Может, они не знали.

— Они не знали, — согласился Харальд. — Это ещё лучше. Люди, которые не знают, дерутся дважды: сперва с тобой, потом со своим удивлением. — Он повернулся и сказал ровно, не повышая голоса, тому, кто стоял у ближнего костра: — Милята. Буди. Тихо буди. Без рога.

И лагерь начал вставать.

Это не было похоже на то, как встают спящие люди. Это было похоже на то, как поднимается вода: сначала один сел, потом трое, потом ряд, потом весь берег зашевелился, и над террасой пошёл тот низкий, страшный, деловой звук, какого не бывает нигде, кроме войны: звук, с которым триста человек одновременно надевают железо.

— Щиты берите с земли, и ко рву! — шипел Бьярни, пробегая. — Асгейр, штаны! Штаны, я сказал, ты не в бане!

— Я в бане не был четырнадцать дней!

— Значит, и врагу тяжело будет. Стой в первом ряду.

Гесиод сел на своём сундуке, огляделся, помотал головой, надел сандалии — и первым делом сунул за пазуху таблички и стиль.

— Ты бы шлем надел, — сказал ему проходящий Торкель.

— У меня нет шлема.

— А что у тебя есть?

— Полное понимание происходящего, — сказал грек. — В нашем деле это редкость и, боюсь, столь же бесполезно.

Трувор выскочил на вал, натягивая на ходу шлем, и стал рядом с Харальдом. Волосы у него торчали, борода была смята со сна с одной стороны, и от этого он выглядел мальчишкой — и очень счастливым мальчишкой.

— Ярл! — сказал он звенящим голосом. — Они пришли!

— Пришли, — согласился Харальд.

— Я так и знал!

— Ты не знал, — заметил старик. — Ты вчера три раза сказал «может, зря копаем».

— Я говорил это как князь, — с достоинством ответил Трувор. — Чтобы люди слышали, что вождь сомневается вместе с ними. А внутри я знал.

— Врёт, — сказала Лепавя, проходя мимо с колчаном. — Он вчера у меня спросил, не глупо ли мы выглядим.

— Липа!

— Что «Липа»? Я тебя не выдала, князь. Я просто рассказала.

Опушка

На опушке, в двухстах двадцати шагах, было темно ещё как ночью — ели держали в себе тьму, как вода холод.

Держимир, сотник, сидел в седле и слушал.

За его спиной строились. Восемьдесят конных — из сотни двадцать он оставил при воеводе и на дорогах, — по восемь в ряд, десять рядов, и это было хорошо, потому что луг был широк и ровен, как стол. Копья держали пока вверх. Кони переступали, фыркали в пар, кто-то тихо, ласково матерился на своего.

Позади, в подлеске, дышала темнота: шестьсот. Мужики жались друг к другу, потому что было холодно, потому что было страшно, и потому что так теплее и то и другое.

— Держимир, — тихо сказал молодой десятник, Богуш. — Костров у них мало.

— Прогорели. Спят.

— И часовых мало.

— Часовых всегда мало, когда люди устали. — Держимир повёл плечами, разгоняя кровь. — Слушай сюда, малый. Нам не рубиться. Нам их со сна сбить и погнать к воде. Как побегут — мужики довершат. Пойдём рысью до половины, потом в галоп. И кричать. Громко кричать, слышишь? Спящего человека не копьё убивает, а крик.

— А если не спят?

Держимир помолчал.

Он был в седле тридцать лет и не любил этот вопрос, потому что честный ответ на него был один: тогда я, милый, узнаю об этом первым.

— Тогда, — сказал он, — тогда придержим и посмотрим. Я не мальчик, чтоб в темноту лбом.

Он поднял руку.

— С Богом. Или с кем там. Рысью — марш.

Ров

Земля загудела.

Это не тот звук, который слышишь ушами. Это тот, который приходит через сапоги в колени, поднимается в живот и там ложится холодным комком. Восемьдесят коней на лугу — не полк, не рать, но для человека, стоящего за валом в пояс, это очень много.

— Пошли, — сказал Харальд.

Он не крикнул. Он произнёс это как «дождь начался».

— Стрелков на вал! — заорал уже Трувор, и вот у него голос был как надо. — Сулицы к руке! Не бросать! Не бросать, я сказал, дурни, они ещё далеко! Кто бросит раньше меня, будет всё утро бегать и собирать!

Стало светлее — не потому, что рассвело, а потому, что на восточной кромке неба лежала белесая полоса, и на этой полосе, чёрные, косматые, приближающиеся, стали видны они.

Рысь перешла в галоп. Взлетели копья, наклонились вперёд. Пошёл крик — не слова, а один длинный многоголосый вой, от которого у Асгейра затряслась челюсть, и он сжал её так, что после два дня болели зубы.

Самбор стоял на левом крыле, у самого оврага, со своими — тремя десятками, где были Лепава, Бьярни и лучшие из «Сороки». Он видел всё сбоку, как со стены. И он видел то, чего не видели скачущие.

Ров и колья лежали в тени вала. С той стороны, из поля, на них падал свет от прогоревших костров — а свет был позади вала, и потому колья не блестели и не рисовались, а просто сливались с чёрной полосой земли. Двести двадцать шагов. Сто. Пятьдесят.

— Они не видят, — прошептал Самбор.

— Видят, — сказала Лепава, накладывая стрелу. — Уже. Вон тот, на сером, — увидел. На тридцати шагах передний ряд увидел.

Не колья даже — коней не обманешь тенями, кони увидели раньше и уже начали ломать шаг сами, — а всадники увидели ров: длинную, чёрную, влажно блестящую полосу поперёк мира, а над ней частую щетину острий на высоте своей собственной груди.

Держимир заорал. Он был опытный человек, он заорал вовремя и правильно: «Держи! Держи!!» — и рванул поводья, и его конь, чудесный, умный, десятилетний конь по кличке Ворон, сел на задние и пошёл боком, разбрасывая дёрн.

Но кричал он это восьмидесяти людям, из которых видели ров только первые сорок.

Остальные сорок скакали на всём ходу, в темноте, в крике, в пыли, и знали ровно одно: впереди спящий вражий лагерь и надо успеть первым.

И они увидели, что передние тормозят.

Здесь, в эту секунду, и решилось всё утро.

Задние сделали то, что делает всякий человек и всякий конь в толпе на скорости: стали обходить. Кто вправо, кто влево, кто в промежутки между тормозящими. Строй лопнул, как обруч на бочке.

И передний ряд, уже осевший, был вбит в этот самый ров вторым и стихийно образовавшимся третьим.

Самбор потом рассказывал это много раз — и всегда сбивался, потому что рассказать это было нельзя. Не было в этом ничего похожего на песню.

Был звук.

Сначала — глухой мягкий удар, много раз, вразнобой: туши в яму. Потом — треск. Не тот честный треск, что бывает, когда ломается древко. Другой. Так ломаются кости в живой ноге, и этот звук человек, услышав раз, узнаёт после до самой смерти.

И потом — крик и ржание коней.

Люди кричат по-разному, а кони все одинаково.

Двое напоролись на колья грудью, всей своей летящей тяжестью, и колья вошли, и один кол лопнул, и всадник ушёл через голову вперёд, в лагерь, за вал, и упал на утоптаный песок к ногам Торкеля Крикливого, который от неожиданности сказал:

— Здравствуй.

И ударил.

— Стрелы!!! — рявкнул Харальд.

Полетели.

Их было мало — не успели поднять всех, не успели раздать, половина стрелков ещё выбиралась из-под плащей; полетело десятка три стрел да столько же сулиц, и это было немного и жидко. Но в кучу-малу, в путаницу, в яму, где бились и валились кони и люди, тридцать сулиц с двадцати шагов — это очень достаточно.

Левава на левом крыле не стреляла в кучу. Она стояла спокойно, боком, и работала, как швея у полотна: тетива, стрела, тетива, стрела. Она выбирала тех, кто уцелел и осаживал коня, — и каждый третий из выбранных валился набок.

— Липа, — сказал Бьярни, глядя на это с уважением. — Ты хоть кого-нибудь просто так пропустила?

— Одного, — сказала она, не оборачиваясь. — Вон того, седоусого. У него конь красивый.

— Ты коня пожалела?!

— Я всадника пожалела. Он единственный тут умный. Пусть расскажет остальным.

Мужики

Держимир вырвался.

Он вырвался с шестью десятками — потому что кони действительно умнее людей, и большинство коней успело встать или отвернуть, и потому, что сам он остановил своих в двадцати шагах и повёл вдоль вала, вбок, орудуя голосом и плоскостью меча по чужим шлемам, собирая, сбивая, вытаскивая из-под самых кольев.

Он потерял в этой яме, за один вдох, восемнадцать человек и двадцать шесть коней. Он этого ещё не знал. Он знал только, что ров есть, что колев щетина, и что всё, что он говорил ночью, — уже неправда.

А потом из леса, отставая на двести шагов, как и было велено, подошли мужики.

Шестьсот человек не бегут, как бегут двадцать. Шестьсот человек идут волной: передние уже устали и хотят остановиться, задние подпирают, и потому передние идут дальше.

Они бежали на лагерь и видели впереди своих конных — а конные, по всем понятиям, дело решают. Значит, дело почти решено. Значит, надо дойти и добрать.

Они дошли до рва и увидели, что стоит за рвом.

За рвом стояла стена щитов.

Триста человек успели. Не все — у самой воды ещё разбирались в темноте, кто чей щит взял, — но линия стояла: два ряда, а на угрожаемых местах три, щит к щиту, край на край, копьё в промежутках, и над щитами — не крик, ничего похожего на крик. Над щитами было молчание и один ровный, тяжёлый, гулкий стук: викинги били древками по внутренней стороне щитов. Раз. Раз. Раз.

— Не орать! — прошёл вдоль строя голос Харальда. — Пусть они орут. Кто орёт — дуралей. Стучите.

Раз. Раз. Раз.

Мужик — не воин. Мужик храбр по-своему, часто храбрее воина, потому что воину за это платят, а мужику нет. Но у мужика нет привычки; и когда он с разбегу выходит из темноты к яме, за которой в железе, в шлемах, молча, ровно, спокойно стоят чужие, — у него в первый же миг спрашивает изнутри тонкий трезвый голос: а зачем я тут?

Кто-то остановился. Кто-то полез в ров — и полез, надо сказать честно, храбро.

Потом позади толпы захлопали плети и раздался конский топот: это Держимир с уцелевшими пошёл сзади, вдоль, как загонщики.

— Вперёд! Вперёд, сучьи дети!! Вон он, тын, руками ломай! Ломай колья!!

И толпа пошла.

У кольев

Первый приступ длился, наверное, столько, сколько нужно, чтобы трижды прочесть «Отче наш», — так после сказал Гесиод, а Гесиод в этот момент сидел за строем на сундуке и правда считал, потому что больше делать было нечего.

Мужики влезли в ров. Ров был пояс, местами по бедро, и на дне уже кое где была вода — не от воды, от того, что песок мокрый и его разбили лаптями в кашу. Они схватились за колья руками, потянули, стали рубить топорами.

И тут выяснилось, отчего Харальд ночью выдёргивал криво поставленные и втыкал глубже.

Кол не тянулся: он был подпёрт снизу камнем и утопан, а сверху связан со соседом лыком, и, чтобы его выдернуть, надо было выдернуть трёх. Кол не рубился с маху: он стоял наклонно, топор с него сползал.

А человек, который тянет кол, — это человек, который стоит согнувшись, обеими руками занят, лицо поднято вверх.

Копьё сверху, от стены щитов, приходит ему в основание шеи.

— Не тянитесь! — рычал Гуннар Долговязый, отрабатывая своим длинным копьём короткими злыми толчками, как молотком. — Стой на месте! Пусть он к тебе идёт! Он идёт — ты колешь! Не тянись!!

Их сталкивали обратно. Они лезли снова. Кто-то из вислянских лучников — охотники, с одноподеревками — начал бить с сорока шагов, и первые раненые пошли: Гримкелю прострелило руку насквозь, парню из Труворовых — щёку, и он сел и стал очень удивлённо смотреть на кровь в горстях.

— Уводи! — крикнул Трувор. — Гесиод!

— Здесь! — Грек уже шёл, подобрав полы, с тряпками и своей фляжкой. — Сюда его. Держи голову. Не пить! Лить!

— Опять добро переводит, — сказал кто-то в строю.

— В Никее люди после этого чаще живут, — не оборачиваясь, отозвался Гесиод, и три десятка человек, у которых как раз в этот момент над головами сшибались железо и крик, отчего-то засмеялись.

Второй приступ был злее.

Мужики притащили из леса жерди, стали набрасывать на колья, чтобы гнуть. Одну секцию, шагов в шесть, действительно уложили — Харальд сам это увидел и сам, старый, пятидесятичетырёхлетний, полез туда с восьмёркой Торкеля, и семь минут в этой прорехе шла та работа, о которой саги пишут красиво, а помнят её только по тому, что после неё нельзя разжать пальцы.

Прореху заткнули. Заткнули телами — своими и чужими, и после этого враг в это место больше не ходил.

Третий приступ был вялый.

Так бывает: люди сделали два раза и знают, чем оно кончается. Они шли, потому что позади гарцевали конные с плетями, и они шли ровно до рва, стояли во рву, кричали и махали оттуда, снизу вверх, и уходили.

Гесиод, накладывая жгут очередному, сказал вслух, ни к кому не обращаясь:

— Заметьте, друзья мои: они уже воюют не с нами. Они воюют с тем всадником, который у них за спиной. Это, в военном деле, начало конца.

Овраг

А на левом крыле, у оврага, было тихо и потому страшнее.

Двадцать спешенных дружинников и полсотни мужиков прошли по скотьему броду в темноте — по одному, ведя коней в поводу, а потом коней бросив, потому что глина держала копыто, как смола.

Они вылезли на террасу с той стороны, где — по всем понятиям, по всякому здравому смыслу — врага не могло быть, потому что враг не знает про брод, враг тут первую ночь и враг сейчас занят своим тыном с той стороны.

Первое, что они увидели, был бурелом.

Наваленные верхушки, сучья, колья вкрест, три вязанки хвороста — и над всем этим, шагах в пятнадцати, на песчаном взгорке, сидел на корточках человек с луком.

— Доброе утро, — сказал этот человек звонким, совсем не мужским голосом. — Вы к нам? Или мимо?

И выстрелила.

Дальше говорить стало некогда.

Здесь не было стены щитов. Здесь было тридцать человек Самбора, узкий проход, завал и лучница, которая сверху видела всех, кто в этом проходе.

— Огонь давай! — крикнул Бьярни.

Факел упал в хворост, и хворост, сухой, приготовленный, сложенный человеком с воображением, взялся сразу и высоко.

— Ну вот, — с глубоким удовлетворением сказал Бьярни, поудобнее перехватывая свой длинный топор. — Теперь всё видно. Я, братья, всю жизнь мечтал воевать при хорошем свете. Заходите, гости, не стесняйтесь, мы вас теперь разглядим и запомним.

Гости заходили. Их было семьдесят, а прохода было — на трёх человек в ряд, и это была не битва, а очередь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.